

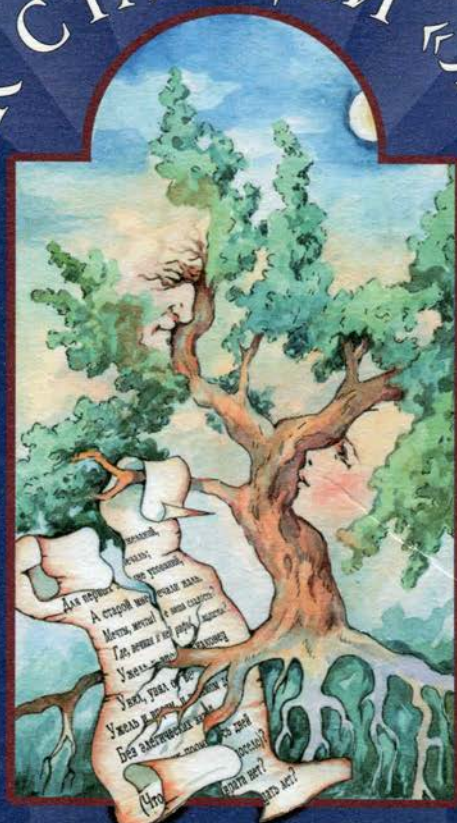
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева

ЛИТЕРАТУРА

7 класс

ПУТЬ

К СТАНЦИИ «Я»



УЧЕБНИК
Книга 1



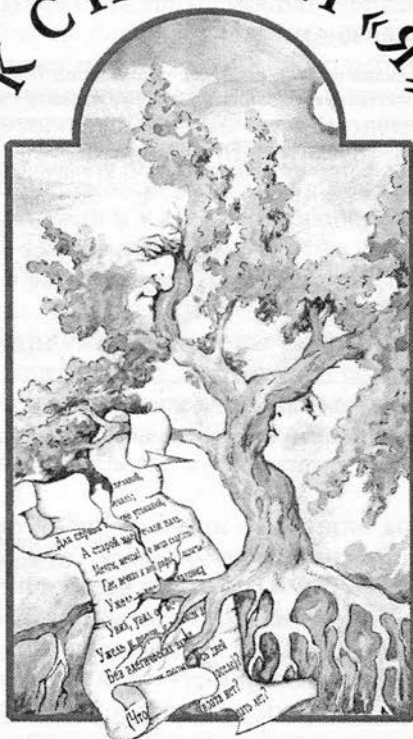
Образовательная система «Школа 2100»

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева

ЛИТЕРАТУРА

7 класс

ПУТЬ К СТАНЦИИ «Я»



УЧЕБНИК

Книга 1

Москва

БАХАСС

2008

УДК 373.167.1:821.161.1+821.161.1(075.3)

ББК 84(2 Рос-Рус)я721

Б91

РЕКОМЕНДОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

- Б91 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.
Литература. 7-й класс («Путь к станции «Я»). Учебник в 2-х книгах.
Кн. 1. – Изд. 3-е, испр. – М.: Баласс, 2008. – 288 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»; Серия «Свободный ум»).

ISBN 978-5-85939-449-4

Учебник предназначен для работы с учащимися 7-го класса общеобразовательной школы. Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, является продолжением непрерывного авторского курса и составной частью комплекта учебников Образовательной системы «Школа 2100». Подготовлен в соответствии с программой, утвержденной Министерством образования и науки РФ.

УДК 373.167.1:821.161.1+821.161.1(075.3)

ББК 84(2 Рос-Рус)я721

Данный учебник в целом и никакая его часть
не могут быть скопированы без разрешения владельца авторских прав

ISBN 978-5-85939-449-4

© Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 2000, 2005,
2008 с изменениями
© ООО «Баласс», 2000, 2005, 2008
с изменениями

Условные обозначения:

-  – произведения для текстуального изучения (остальные произведения изучаются обзорно);
(П) – вопросы и задания на повторение, обобщение, сопоставление;
(С) – работа со словариком литературоведческих терминов;
(ТР) – творческие работы.

Учебник «Путь к станции «Я» – следующая часть непрерывного курса «Чтение и литература» в Образовательной системе «Школа 2100». Цель нашей Образовательной системы – помочь каждому научиться решать разные возникающие в его жизни задачи, проблемы, строить взаимоотношения с окружающими. А для этого нужно понимать их и самого себя, иметь собственную позицию и давать нравственную оценку себе, людям, событиям, поступкам. И вот здесь приходит на помощь предмет «Литература».

В учебнике есть произведения для *текстуального изучения* (они помечены значком ). Это означает, что данное произведение определено государственным образовательным стандартом как обязательное для изучения, оно должно быть прочитано полностью и проанализировано*. Таким образом, все произведения для текстуального изучения составляют *обязательный минимум* литературного образования 7-го класса. Остальные произведения, включенные в программу, предназначены для *обзорного изучения* (*программный минимум*). С программным минимумом можно работать по-разному. Это означает, что семиклассник может ограничиться только теми фрагментами текста, которые включены в учебник, а те произведения, которые ему понравятся, прочесть целиком по желанию (*возможный максимум*). На уроках можно обсудить прочитанное, не углубляясь в анализ. Здесь у учителя и класса есть выбор, с какой степенью глубины знакомиться с тем или иным текстом.

В любом случае, на каком бы уровне ни изучался текст, он должен быть предварительно прочитан. В ходе чтения ученики, конечно, воспользуются теми приемами, которыми овладели еще в начальной школе: подумают над текстом до чтения и сформулируют свои предположения; проведут диалог с автором по ходу чтения, обратят внимание на незнакомые слова и т.д. Эти *важнейшие читательские умения* необходимо постоянно тренировать, чтобы понимать все более сложные тексты.

Если вы прочтете весь учебник от начала до конца, то, конечно, обратите внимание, что это не хрестоматия в привычном понимании, а цельное самостоятельное произведение, которое включает тексты разных авторов, объединенные главной темой: личностное становление человека. Их композиционное единство создают дневники постоянно действующего героя. Внутри каждого раздела – особое сцепление текстов, которые не просто объединены общей темой, но позволяют рассмотреть одну и ту же нравственную проблему с разных сторон. Поэтому иногда тексты дополняют друг друга, а иногда противоречат друг другу. Стихотворения в каждом разделе – это не столько предмет изучения, сколько «эмоциональные заставки» к разделу, либо они составляют единый смысловой и эмоциональный блок с прозаическим текстом. В учебнике внутри одного раздела соседствуют произведения, созданные в разное время. Это попытка показать общее в ощущении мира и себя в нем у героев разных эпох.

* Исключение составляют «Былое и думы» А.И. Герцена: текстуально изучаются только главы, включенные в учебник.

Сквозной персонаж учебника и его дневниковые записи вместе с системой вопросов, которые предложены авторами, помогут ребятам вместе с учителем сформулировать *учебную проблему урока* и искать пути ее решения (всем вместе, индивидуально или в группах). При этом важно помнить, что литература – предмет субъективный и существуют различные, порой взаимоисключающие точки зрения на одно и то же произведение или героя и каждый может иметь свою собственную точку зрения.

В этом учебнике авторы впервые предлагают познакомиться с *биографиями писателей*. Рубрика «Информация для тебя» помещается либо до, либо после текста произведения, потому что иногда знание фактов биографии писателя помогает восприятию и пониманию текста, а иногда важнее и полезнее сначала самостоятельно «открыть» для себя писателя через текст, а затем углубить это знакомство с помощью биографии. Здесь тоже есть выбор.

Работая с учебником, читая и анализируя литературные произведения, ребята будут и дальше знакомиться с *наукой о литературе – литературоведением*. Здесь им поможет «Краткий словарь литературоведческих терминов», помещенный в конце каждой книги, и «Тетрадь по литературе к учебнику «Путь к станции «Я».

Свои дела (обращение к ученику)

Мы хорошо понимаем, что в этом учебном году у тебя и твоих одноклассников появится много новых увлечений помимо школы, и вам все более интересно будет общаться именно друг с другом. Это нормально, просто вы делаете еще один шаг к взрослой жизни. А у каждого взрослого, помимо обязанностей, есть еще и свои **собственные дела**. Каждое дело человек сначала задумывает (что и зачем он хочет сделать), затем планирует, выполняет и представляет себе и другим его результаты.

В этих взрослых делах школа может тебе помочь. Возможно, тебе интересно будет самому или с друзьями сделать что-то, связанное с нашим предметом, литературой.

Например, это могут быть такие дела (назовем их **проекты**):

- фотовыставка о жизни и творчестве писателя (поэта), который тебе интересен, или любимого писателя (поэта);
- литературная викторина, которую вы сами составите или проведете для друзей или малышей;
- спектакль о вашей жизни (пьесу можно подобрать или сочинить самим, распределить роли и т.д.);
- поэтический (литературный) спектакль о поэте (писателе), составленный из его произведений;
- сборник иллюстраций к литературным произведениям;
- литературный журнал (альманах) или своя газета (сочиняете сами, а верстать можно на компьютере);
- свой творческий дневник и т.д.

Возможно, ты придумаешь и осуществишь свой проект, который никак не будет связан с литературой. В любом случае – удачи тебе и твоим друзьям.

Авторы учебника

История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление.

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

ВСТУПЛЕНИЕ ОТ АВТОРОВ УЧЕБНИКА

Как хорошо, что мы опять вместе! Ты взрослеешь, и значит, разговор наш с тобой о литературе и о жизни становится серьезнее.

Могут ли книги научить жить? Наверное, нет. Эту школу каждый человек проходит сам. Но книги могут заставить думать, сопереживать. Ведя диалог с авторами книг, людьми яркими, интересными, глубокими, ты можешь приобщиться к бесценному опыту, который человечество накапливало столетиями. Мы не знаем, какую профессию ты выберешь в будущем, но главное, чего хочется нам, и твоим учителям, и близким тебе людям, — это чтобы ты стал **личностью**. Чтобы ты мог жить с чувством самоуважения и чтобы тебя уважали и ценили окружающие, чтобы ты умел принимать верные решения в самых сложных ситуациях и прожил жизнь достойно. О том, что это значит и как к этому прийти, мы будем говорить с тобой в нашем учебнике «Путь к станции «Я».

То, что мы предлагаем тебе читать в этом году, по правде сказать, человеку воспитанному читать не полагается, ибо это дневник. Если мы заглянем в толковый словарь, то узнаем, что дневник — это, во-первых, «записи, ведущиеся изо дня в день», а во-вторых, «ученическая тетрадь для записи заданных уроков и для отметок об успехах». Как ты, конечно, догадался, мы ведем речь о дневнике в первом значении этого слова.

Чужие дневники читать не принято. Однако существуют исключения из правил. Опубликованы дневники великих людей: писателей, ученых, людей искусства. Чтение их дает возможность глубже понять личность великого человека, его творчество, динамику мысли. Эти дневники публикуются только с разрешения автора или его родных.

Дневник, который ты будешь читать, печатается с разрешения автора. Назовем его Алексеем. Алексею 21 год, он заканчивает университет в городе... Впрочем, это неважно. Много лет он ведет свой дневник, и часть этих записей любезно предоставил нам.

Ты спросишь, не прославился ли Алексей в свои годы, раз мы решили опубликовать его мысли, записанные для самого себя. Нет. Наш герой — самый обычный молодой человек, если вообще о человеке можно сказать «обычный». Просто он думающий человек, поэтому нам безразлично будет следить за ходом мыслей, за становлением его личности.

Твой год после детства остался позади, ты вступаешь в пору отрочества, ты учишься понимать других людей и самого себя...

1. Рассмотрю обложку учебника, прочитаю его название. Как ты понимаешь символический смысл рисунка на обложке? Выскажи свои предположения о содержании курса литературы 7-го класса.
2. Перечитай эпиграф к нашему учебнику на с. 5. Как ты понимаешь его смысл?
3. Как ты думаешь, люди похожи друг на друга или внутренний мир каждого человека неповторим?
4. Как ты определяешь, является ли человек личностью?
5. Как ты думаешь, существуют ли «обычные» люди? Аргументируй свой ответ.
6. Какие личностные качества ты больше всего ценишь в людях?
7. Почему считается неприличным читать чужие дневники? Что еще без разрешения автора читать нельзя?
8. Вспомни, что тебе известно из курса риторики о дневнике как речевом жанре.

ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ 6-го КЛАССА



1. Сравню изображение человека в эпосе, лирике, драме. Какой род литературы ближе тебе как читателю? Какие жанры?
2. Назови известные тебе вечные темы литературы. О чем любишь читать ты?
3. С какими произведениями мистической литературы ты познакомился? В чем отличие мистики от фантастики?
4. Какое произведение было написано в форме дневника главного героя? Оправдан ли этот прием?
5. Какие сказки из раздела «Сказки для взрослых» тебе особенно запомнились? Кого из персонажей этих сказок ты бы назвал личностью?
6. Вспомни, с какими произведениями фольклора ты познакомился в прошлом году. Как ты думаешь, что дает чтение произведений устного народного творчества (сказок, героического эпоса) современному человеку?
7. С какими жанрами юмористической и сатирической литературы ты познакомился? Какие произведения тебе особенно запомнились?
8. Назови своих любимых литературных героев. Какие они? Что тебя в них привлекает?
9. Почему литература помогает человеку открывать мир вокруг?



ВСТУПЛЕНИЕ ОТ АВТОРА ДНЕВНИКА

Трудно сказать точно, когда я решил вести дневник. Просто однажды мне захотелось привести свои мысли в порядок. Не понимаю, почему многих людей так манят загадки других галактик или морских глубин, тогда как человек с непостижимостью его сознания и многих поступков, с глубиной его эмоций и переживаний, с его радостями и страданиями – вот самое загадочное и необъяснимое...

Я решил начать с себя. Может, через несколько лет мои мысли на бумаге мне самому покажутся смешными и наивными – пусть, это не страшно, это просто будет означать, что я двигаюсь вперед.

Каждый прожитый день заставляет меня думать, а прочитанные книги часто направляют этот процесс в новое русло. В тот день, когда я понял, что, открывая книгу, я не просто читаю, а получаю возможность общаться с теми людьми, с которыми мне вряд ли выпадет счастье познакомиться, а тем более побеседовать на равных, я стал читать совсем по-другому. И я не удивлюсь, если в моем дневнике постоянно будут возникать «отголоски» книг, которые оставили в моей душе глубокий след.

Смотрит ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, как и что делают взрослые...

Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка; неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напивается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни, его окружающей.

И.А. Гончаров «Обломов»



Раздел 1

С. Дави. Мадонна Порты Лигата (фрагмент)

Я и мое детство

И.А. Бунин

Детство

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!
Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок – как шелк... Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол – гигант, тяжелый, величавый.
Кора груба, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного света.

(1903–1906)

К.М. СИМОНОВ

Тринадцать лет. Кино в Рязани.
Тапер с жестокою душой
И на заштопанном экране
Страданья женщины чужой;

Погоня в Западной пустыне,
Калифорнийская гроза
И погибавшей героини
Невероятные глаза.

Но в детстве можно всё на свете,
И за двугривенный в кино
Я мог, как могут только дети,
Из зала прыгнуть в полотно.

Убить врага из пистолета,
Догнать, спасти, прижать к груди.
И счастье было рядом где-то,
Там, за экраном, впереди.

Когда теперь я в темном зале
Увижу вдруг твои глаза,
В которых тайные печали
Не выдаст женская слеза,

Как я хочу придумать средство,
Чтоб счастье было впереди,
Чтоб хоть на час вернуться в детство,
Догнать, спасти, прижать к груди...



Май 1941

21 сентября. Интересно, почему я не заметил, как кончилось мое детство? И вообще, что это такое – окончание детства? Все осталось прежним, только я стал выше ростом, и взрослые перестали разговаривать со мной снисходительно. И еще меня покинул волшебный мир, полный защищенности и покоя. Но, надеюсь, во мне осталось что-то от него. «Детство было у каждого...», «Все начинается с детства...» – расхожие, знакомые фразы. Но, если все начинается с детства, почему, вырастая, мы становимся такими разными? Помню, как жадно одно время я вчитывался в книги-воспоминания о детстве великих людей: что такое почувствовали и поняли они, что потом определило всю их жизнь? Герцен, Лев Толстой, Горький, Марина Цветаева и другие писатели, чьи книги я читал, обязательно на определенном этапе жизни вспоминали детство, пытались осмыслить то, как шло становление их души и характера. Что особенно повлияло, дало импульс к развитию? Исторические события? Особые, выдающиеся люди, встретившиеся на пути? Мне кажется, если я смогу найти ответы на эти вопросы, то пойму для себя что-то очень важное...

?

ДАВАЙ ПОДУМАЕМ НАД ВОПРОСАМИ

1. Что такое детство и какое значение оно имеет для всей дальнейшей жизни человека?
2. По каким признакам можно понять, что детство кончилось?
3. Как ты понимаешь выражение «в этом человеке живет ребенок»?
4. Может ли человек не помнить своего детства? Как ты думаешь, это счастье или потеря?
5. Какая мысль объединяет стихотворения И.А. Бунина и К.М. Симонova? Какой образ детства создан каждым из поэтов?
6. С чем связаны минуты счастья в детстве для каждого из поэтов? Для тебя?

Мы предложили тебе ответить на очень трудные вопросы. В этом разделе ты будешь читать произведения разных писателей о детстве и биографии этих писателей. Подумай над ними, а после чтения мы вновь вернемся к этим вопросам.

Начнем с биографии Александра Ивановича Герцена. Знакомься с ней, постарайся понять, кто или что определило становление А.И. Герцена как писателя и общественного деятеля.

Александр Иванович Герцен (1812–1870)

— Александр Иванович Герцен – философ, писатель, публицист¹, человек, оказавший влияние на развитие общественной мысли как в России, так и в Европе. Всю свою жизнь посвятил политико-просветительской борьбе за равноправие людей, за гуманизм², против угнетения человека человеком. Талант Герцена – аналитика, писателя, критика проявился в его художественных произведениях. Наиболее известны его повести «Сорока-воровка», «Доктор Крупов», роман «Кто виноват?» и книга «Былое и думы».



А.И. Герцен родился в Москве 25 марта 1812 года в доме дяди на Тверском бульваре. Отец – Иван Александрович Яковлев (1767–1846), родовитый московский барин, гвардии капитан в отставке. Мать – Генриетта Луиза (Луиза Ивановна) Гаг (1795–1851), дочь мелкого чиновника из Штутгарта, привезенная И.А. Яковлевым в Россию в конце 1811 года. Родители не состояли в браке, и Герцен получил придуманную фамилию (от немецкого слова Herz – сердце). Официально он считался воспитанником И.А. Яковлева.

В ранней юности, потрясенный гибелью декабристов и всеми последовавшими за этим событиями, Герцен вместе со своим другом Николаем Огаревым дал клятву посвятить себя борьбе за справедливость и гуманизм. Этой клятве он остался верен на всю жизнь.

В 1833 году Герцен окончил Московский университет.

Позднее за свои взгляды Александр Герцен был сослан; в 1847 году он навсегда покидает Россию – отправляется в эмиграцию. Там в 1855–1866 гг. выходили его альманах (журнал) «Полярная звезда» и первая русская свободная общественно-политическая газета «Колокол» (1857–1867), которую Герцен выпускал вместе с Н.П. Огаревым. «Свободное русское слово», звучавшее со страниц этих изданий, оказало огромное влияние на развитие русской прогрессивной общественной мысли, заставляя образованную часть общества задуматься о том, что происходит в России.

Герцен считал себя продолжателем дела декабристов, но выступал за мирный путь сознательных преобразований. Он был знаком с И.С. Тургеневым, Л.Н. Толстым, А.И. Островским, Ф.М. Достоевским и многими другими известными писателями.

А.И. Герцен умер от воспаления легких в январе 1870 года и был похоронен во Франции, на кладбище Пер-Лашез в Париже. Похороны писателя были похожи на демонстрацию: за гробом шли и французы, и русские: рабочие, демократически настроенная интеллигенция, были представители французского правительства. В том же году, согласно завещанию А.И. Герцена, его прах был перезахоронен в семейной могиле в Ницце (Франция).

¹ Публицист – писатель, создающий произведения (книги, очерки, статьи) по общественно-политическим вопросам современности.

² Гуманизм – человечность в отношении к людям, в общественной деятельности.



📖 А.И. Герцен

Былое и думы (главы)

Из части I

Глава III

Смерть Александра I и 14 декабря. – Нравственное пробуждение. – Террорист Бушэ. – Корчевская кухня

Одним зимним утром, как-то не в свое время, приехал Сенатор; озабоченный, он скорыми шагами прошел в кабинет моего отца и запер дверь, показавши мне рукой, чтоб я остался в зале.

По счастью, мне недолго пришлось ломать голову, догадываясь, в чем дело. Дверь из передней немного приотворилась, и красное лицо, полузакрытое волчьим мехом ливрейной шубы, шепотом подозвало меня; это был лакей Сенатора, я бросился к двери.

– Вы не слышали? – спросил он.

– Чего?

– Государь помер в Таганроге.

Новость эта поразила меня; я никогда прежде не думал о возможности его смерти; я вырос в большом уважении к Александру и грустно вспоминал, как я его видел незадолго перед тем в Мос-

кве. Гуляя, встретили мы его за Тверской заставой; он тихо ехал верхом с двумя-тремя генералами, возвращаясь с Ходынки, где были – маневры. Лицо его было приветливо, черты мягки и округлы, выражение лица усталое и печальное. Когда он поравнялся с нами, я снял шляпу и поднял ее; он, улыбаясь, поклонился мне. Какая разница с Николаем, вечно представлявшим остриженную и взлызистую медузу с усами! Он на улице, во дворе, с своими детьми и министрами, с вестовыми и фрейлинами пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойство гремучей змеи – останавливать кровь в жилах¹. Если наружная кротость Александра была личина, – не лучше ли такое лицемерие, чем наглая откровенность самовластья?

...Пока смутные мысли бродили у меня в голове и в лавках продавали портреты императора Константина, пока носились повестки о присяге и добрые люди торопились поклясться, разнесся слух об отречении цесаревича. Вслед за тем тот же лакей Сенатора, большой охотник до политических новостей и которому было где их собирать по всем передним сенаторов и присутственных мест, по которым он ездил с утра до ночи, не имея выгоды лошадей, которые менялись после обеда, сообщил мне, что в Петербурге был бунт и что по Галерной стреляли «в пушки».

На другой день вечером был у нас жандармский генерал граф Комаровский; он рассказывал о каре на Исаакиевской площади, о конно-гвардейской атаке, о смерти графа Милорадовича.

А тут пошли аресты: «того-то взяли», «того-то схватили», «того-то привезли из деревни»; испуганные родители трепетали за детей. Мрачные тучи заволокли небо.

В царствование Александра политические гонения были редки; он сослал, правда, Пушкина за его стихи и Лабзина за то, что он, будучи конференц-секретарем в Академии художеств, предложил избрать кучера Илью Байкова в члены Академии²; но систематического преследования не было. Тайная полиция не разрасталась еще в самодержавный корпус жандармов, а состояла из канцелярии под начальством старого волтерьянца, остряка и болтуна и юмориста, вроде Жуи де Санглена. При Николае де Санглен попал сам под надзор полиции и считался либералом, оставаясь тем

¹ Рассказывают, что как-то Николай в своей семье, то есть в присутствии двух-трех начальников тайной полиции, двух-трех лейб-фрейлин и лейб-генералов, попробовал свой взгляд на Марью Николаевну. Она похожа на отца, и взгляд ее действительно напоминает его страшный взгляд. Дочь смело вынесла отцовский взор. Он побледнел, щеки задрожали у него, и глаза сделались еще свирепее: тем же взглядом отвечала ему дочь. Все побледнело и задрожало вокруг; лейб-фрейлины и лейб-генералы не смели дохнуть от этого каннибальски царского поединка глазами, вроде описанного Байроном в «Дон Жуане». Николай встал, – он почувствовал, что нашла коса на камень. (Примеч. А.И. Герцена.)

² Президент Академии предложил в почетные члены Аракчеева. Лабзин спросил, в чем состоят заслуги графа в отношении к искусствам. Президент не нашелся и отвечал, что Аракчеев – «самый близкий человек к государю». – «Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова, – заметил секретарь, – он не только близок к государю, но сидит перед ним». Лабзин был мистик и издатель «Сионского вестника»; сам Александр был такой же мистик, но с падением министерства Голицына отдал головой Аракчееву своих прежних «братьев о Христе и о внутреннем человеке». Лабзина сослали в Симбирск. (Примеч. А.И. Герцена.)



Александр I



Кончина государя-императора Александра Благословенного ...

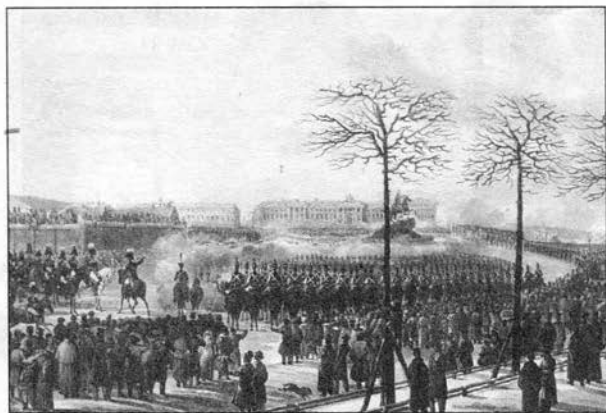
же, чем был; по одному этому легко вымерить разницу царствований.

Николая вовсе не знали до его воцарения; при Александре он ничего не значил и никого не занимал. Теперь всё бросилось расспрашивать о нем; одни гвардейские офицеры могли дать ответ; они его ненавидели за холодную жестокость, за мелочное педантизм, за злопамятность. Один из первых анекдотов, разнесшихся по городу, больше нежели подтверждал мнение гвардейцев. Рассказывали, что как-то на ученье великий князь до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: «Ваше величество, у меня шпага в руке». Николай отступил назад, промолчал, но не забыл ответа. После 14 декабря он два раза осведомился, замешан этот офицер или нет. По счастью, он не был замешан.¹

Тон общества менялся наглядно; быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно.

Одни женщины не участвовали в этом позорном отречении от близких... и у креста стояли одни женщины, и у кровавой гильотины является — то Люсиль Демулен, эта Офелия революции, бро-

¹ Офицер, если не ошибаюсь, граф Самойлов, вышел в отставку и спокойно жил в Москве. Николай узнал его в театре; ему показалось, что он как-то изысканно оригинально одет, и он высочайше изъявил желание, чтоб подобные костюмы были осмеяны на сцене. Директор и патриот Загоскин поручил одному из актеров представить Самойлова в каком-нибудь водевиле. Слух об этом разнесся по городу. Когда пьеса кончилась, настоящий Самойлов взмолился в ложу директора и просил позволения сказать несколько слов своему двойнику. Директор струсил, однако, боясь скандала, позвал гаера. «Вы прекрасно представили меня, — сказал ему граф, — но для полного сходства у вас недоставало одного — этого брильянта, который я всегда ношу; позвольте мне вручить его вам: вы его будете надевать, когда вам опять будет приказано меня представить». После этого Самойлов спокойно отправился на свое место. Плоская шутка так же глупо пала, как объявление Чаадаева сумасшедшим и другие августейшие шалости. (Примеч. А.И. Герцена.)



К.И. Кольман. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.



Николай I

дящая возле топора, ожидая свой черед, то Ж. Санд, подающая на эшафоте руку участия и дружбы фанатическому юноше Алибо.

Жены сосланных в каторжную работу лишались всех гражданских прав, бросали богатство, общественное положение и ехали на целую жизнь неволи в страшный климат Восточной Сибири, под еще страшнейший гнет тамошней полиции. Сестры, не имевшие права ехать, удалялись от двора, многие оставили Россию; почти все хранили в душе живое чувство любви к страдальцам; но его не было у мужчин, страх выел его в их сердце, никто не смел заикнуться о несчастных.

<...>

Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это случилось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души.

Все ожидали облегчения в судьбе осужденных, — коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет приведен в действие, что все это делается для того, чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха. Николай уехал из Петербурга и, не въезжая в Москву, остановился в Петровском дворце... Жители Москвы едва верили своим глазам, читая в «Московских ведомостях» страшную новость 14 июля.

Народ русский отвык от смертных казней: после Мировича, казненного вместо Екатерины II, после Пугачева и его товарищей не было казней; люди умирали под кнутом, солдат гоняли (вопреки закону) до смерти сквозь строй, но смертная казнь *de jure*¹ не существовала. Рассказывают, что при Павле на Дону было какое-

¹ Юридически (лат.).



то частное возмущение казаков, в котором замешались два офицера. Павел велел их судить военным судом и дал полную власть гетману или генералу. Суд приговорил их к смерти, но никто не осмелился утвердить приговор; гетман представил дело государю. «Все они бабы, — сказал Павел, — они хотят свалить казнь на меня, очень благодарен», — и заменил ее каторжной работой.

Николай ввел *смертную казнь* в наше уголовное законодательство сначала незаконно, а потом привенчал ее к своему своду.

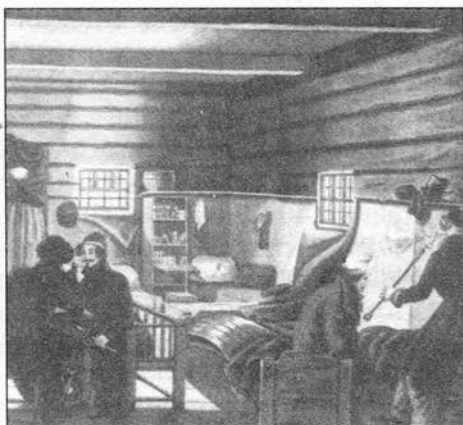
Через день после получения страшной вести был молебен в Кремле.¹ Отпраздновавши казнь, Николай сделал свой торжественный въезд в Москву. Я тут видел его в первый раз; он ехал верхом возле кареты, в которой сидела вдовствующая императрица и молодая. Он был красив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая на счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза. Я не верю, чтоб он когда-нибудь страстно любил какую-нибудь женщину, как Павел Лопухину, как Александр всех женщин, кроме своей жены, он «пребывал к ним благосклонен», не больше.

<...> Несмотря на то что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницатель-

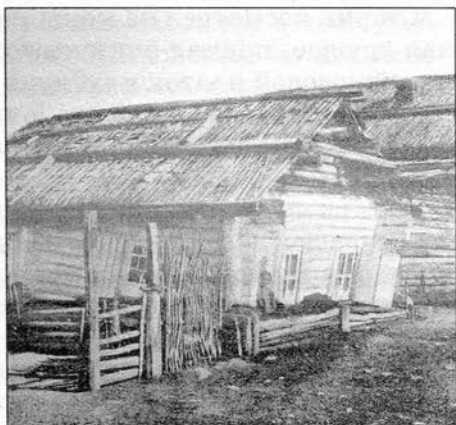
¹ «Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Среди Кремля митрополит Филарет благодарил Бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля.

Никогда виселицы не имели такого торжества. Николай понял важность победы!

Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил; гвардия и трон, алтарь и пушки — все осталось; но через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу» («Полярная звезда» на 1855). (Примеч. А.И. Герцена.)



Декабристы в камере Читинского острога



Дом кн. Волконского в Чите

ностью; они были до того сбивчивы, что я воображал в самом деле, что петербургское возмущение имело, между прочим, целью посадить на трон цесаревича, ограничив его власть. Отсюда целый год поклонения этому чудаку. <...>

Само собою разумеется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежнего, мне хотелось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение; я слишком гордо сознавал себя «злоумышленником», чтоб молчать об этом или чтоб говорить без разбора.

Первый выбор пал на русского учителя.

И.Е. Протопопов был полон того благородного и неопределенного либерализма, который часто проходит с первым седым волосом, с женитьбой и местом, но все-таки облагораживает человека. Иван Евдокимович был тронут и, уходя, обнял меня со словами: «Дай Бог, чтоб эти чувства созрели в вас и укрепились». Его сочувствие было для меня великой отрадой. Он после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затертые тетради стихов Пушкина «Ода на свободу», «Кинжал»; «Думы» Рылеева; я их переписывал тайком... (*а теперь печатаю явно!*)

Разумеется, что и чтение мое переменялось. Политика вперед, а главное – история революции; я ее знал только по рассказам m-me Прово. В подвальной библиотеке открыл я какую-то историю девяностых годов, писанную роялистом. Она была до того пристрастна, что даже я, четырнадцати лет, ей не поверил. Слышал я мельком от старика Бушо, что он во время революции был в Париже, мне очень хотелось расспросить его; но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и очками; он никогда не пускался в излишние разговоры со мной, спрягал глаголы, диктовал примеры, бранил меня и уходил, опираясь на толстую сучковатую палку.

– Зачем, – спросил я его среди урока, – казнили Людовика Шестнадцатого?

Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

— *Parce qu'il a été traître à la patrie.*¹

— Если б вы были между судьями, вы подписали бы приговор?

— Обеими руками.

Этот урок стоил всяких субжонктивов²; для меня было довольно; ясное дело: что поделом казнили короля.

Старик Бушо не любил меня и считал пустым шалуном за то, что я дурно приготовлял уроки, он часто говаривал: «Из вас ничего не выйдет», но когда заметил мою симпатию к его идеям *régicides*³, он сменил гнев на милость, прощал ошибки и рассказывал эпизоды 93 года и как он уехал из Франции, когда «развратные и плуты» взяли верх. Он с тою же важностью, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил:

— Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас.

К этим педагогическим поощрениям и симпатиям вскоре присовокупилась симпатия более теплая и имевшая сильное влияние на меня.

В небольшом городке Тверской губернии жила внучка старшего брата моего отца. Я ее знал с самых детских лет, но видались мы редко; она приезжала раз в год на Святки или об Масленицу погостить в Москву с своей теткой. Тем не менее мы сблизились. Она была лет пять старше меня, но так мала ростом и моложава, что ее можно было еще считать моей ровесницей. Я ее полюбил за то особенно, что она первая стала обращаться со мной по-человечески, то есть не удивлялась беспрестанно тому, что я вырос, не спрашивала, чему учусь и хорошо ли учусь, хочу ли в военную службу и в какой полк, а говорила со мной так, как люди вообще говорят между собой, не оставляя, впрочем, докторальный авторитет, который девушки любят сохранять над мальчишками несколько лет моложе их.

Мы переписывались, и очень, с 1824 года, но письма — это опять перо и бумага, опять учебный стол с чернильными пятнами и иллюстрациями, вырезанными перочинным ножом; мне хотелось ее видеть, говорить с ней о новых идеях — и потому можно себе представить, с каким восторгом я услышал, что кузина приедет в феврале (1826) и будет у нас гостить несколько месяцев. Я на своем столе нацарапал числа до ее приезда и смарывал прошедшие, иногда намеренно забывая дни три, чтоб иметь удовольствие разом вымарать побольше, и все-таки время тянулось очень долго, потом и срок прошел, и новый был назначен, и тот прошел, как всегда бывает.

¹ Потому что он изменил отечеству (фр.).

² Сослагательных наклонений (фр. *subjonctif*).

³ Цареубийственным (фр.).

Мы сидели раз вечером с Иваном Евдокимовичем в моей учебной комнате, и Иван Евдокимович, по обыкновению заливая кислыми щами всякое предложение, толковал о «гексаметре», страшно рубя на стопы голосом и рукой каждый стих из Гнедичевой «Илиады», – вдруг на дворе снег завизжал как-то иначе, чем от городских саней, подвязанный колокольчик позванивал остатком голоса, говор на дворе... я вспыхнул в лице, мне было не до рубленого гнева «Ахиллеса, Пелеева сына», я бросился стремглав в переднюю, а тверская кузина, закутанная в шубах, шальных, шарфах, в капоре и в белых мохнатых сапогах, красная от морозу, а может, и от радости, бросилась меня целовать.

Люди обыкновенно вспоминают о первой молодости, тогдашних печалях и радостях немного с улыбкой снисхождения, как будто они хотят, жеманясь, как Софья Павловна в «Горе от ума», сказать: «Ребячество!» Словно они стали лучше после, сильнее чувствуют или больше. Дети года через три стыдятся своих игрушек, – пусть их, им хочется быть большими, они так быстро растут, меняются, они это видят по курточке и по страницам учебных книг; а, кажется, совершеннолетним можно бы было понять, что «ребячество» с двумя-тремя годами юности – самая полная, самая изящная, самая наша часть жизни, да и чуть ли не самая важная, она незаметно определяет все будущее.

Пока человек идет скорым шагом вперед, не останавливаясь, не задумываясь, пока не пришел к оврагу или не сломал себе шеи, он все полагает, что его жизнь впереди, свысока смотрит на прошедшее и не умеет ценить настоящего. Но когда опыт прибил весенние цветы и остудил летний румянец, когда он догадывается, что жизнь, собственно, прошла, а осталось ее продолжение, тогда он иначе возвращается к светлым, к теплым, к прекрасным воспоминаниям первой молодости.

Природа с своими вечными уловками и экономическими хитростями *дает* юность человеку, но человека сложившегося берет для себя, она его втягивает, впутывает в ткань общественных и семейных отношений, в три четверти не зависящих от него, он, разумеется, дает своими действиями свой личный характер, но он гораздо меньше принадлежит себе, лирический элемент личности ослаблен, а потому и чувства и наслаждение – все слабее, кроме ума и воли.

Жизнь кузины шла не по розам. Матери она лишилась ребенком. Отец был отчаянный игрок и, как все игроки по крови, – десять раз был беден, десять раз был богат и кончил все-таки тем, что окончательно разорился. Les beaux restes¹ своего достояния он посвятил конскому заводу, на который обратил все свои помыслы и страсти. Сын его, уланский юнкер, единственный брат кузины, очень добрый юноша, шел прямым путем к гибели: девятнадцати лет он уже был более страстный игрок, нежели отец.

¹ Остатки (фр.).

Лет пятидесяти, без всякой нужды, отец женился на застарелой в девстве воспитаннице Смольного монастыря. Такого полного, совершенного типа петербургской институтки мне не случалось встречать. Она была одна из отличнейших учениц и потом классной дамой в монастыре; худая, белокурая, подслепая, она в самой наружности имела что-то дидактическое и назидательное. Вовсе не глупая, она была полна ледяной настороженности на словах, говорила готовыми фразами о добродетели и преданности, знала на память хронологию и географию, до противной степени правильно



говорила по-французски и таила внутри самолюбие, доходившее до искусственной, иезуитской скромности. Сверх этих общих черт «семинаристов в желтой шали», она имела чисто невские или смольные. Она поднимала глаза к небу, полные слез, говоря о посещениях их общей матери (императрицы Марии Федоровны), была влюблена в императора Александра и, помнится, носила медальон или перстень с отрывком из письма императрицы Елизаветы: «Il a repris son sourire de bienveillance!»¹.

Можно себе представить стройное trio, составленное из отца-игрока и страстного охотника до лошадей, цыган, шума, пиров, скачек и бегов, дочери, воспитанной в совершенной независимости, привыкшей делать что хотелось в доме, и ученой девы, вдруг сделавшейся из пожилых наставниц молодой супругой. Разумеется, она не любила падчерицу, разумеется, что падчерица ее не любила. Вообще между женщинами тридцати пяти лет и девушками семнадцати только тогда бывает большая дружба, когда первые самоотверженно решаются не иметь пола.

Я нисколько не удивляюсь обыкновенной вражде между падчерицами и мачехами, она естественна, она нравственна. Новое лицо, вводимое вместо матери, вызывает со стороны детей отвращение. Второй брак – вторые похороны для них. В этом чувстве ярко выражается детская любовь, она шепчет сиротам: «Жена твоего отца вовсе не твоя мать». Христианство сначала понимало, что с тем понятием о браке, которое оно развивало, с тем понятием о бессмертии души, которое оно проповедовало, второй брак – вообще нелепость; но, делая постоянно уступки миру, церковь перехитрила и встретила с неумолимой логикой жизни – с простым детским сердцем, практически восставшим против благочестивой нелепости считать подругу отца – своей матерью.

С своей стороны и женщина, встречающая, выходя из-под венца, готовую семью, детей, находится в неловком положении; ей нечего с ними делать, она должна натянуть чувства, которых не



может иметь, она должна уверить себя и других, что чужие дети ей так же милы, как свои.

Я, стало быть, вовсе не обвиняю ни монастырку, ни кузину за их взаимную нелюбовь, но понимаю, как молодая девушка, не привыкнутая к дисциплине, рвалась куда бы то ни было на волю из родительского дома. Отец, начинавший стариться, больше и больше покорялся ученой супруге своей; улан, брат ее, шалил хуже и хуже, словом, дома было тяжело, и она наконец склонила мачеху отпустить ее на несколько месяцев, а может, и на год, к нам.

На другой день после приезда кузина ниспровергла весь порядок моих занятий, кроме уроков; самодержавно назначила часы для общего чтения, не советовала читать романы, а рекомендовала Сегюрову всеобщую историю и Анахарсисово путешествие. С стоической точки зрения противодействовала она сильным наклонностям моим курить тайком табак, завертывая его в бумажку (тогда папиросы еще не существовали); вообще она любила мне читать морали, — если я их не исполнял, то мирно выслушивал. По счастью, у нее не было выдержки, и, забывая свои распоряжения, она читала со мной повести Цшоке вместо археологического романа и посылала тайком мальчика покупать зимой гречневика и гороховый кисель с постным маслом, а летом — крыжовник и смородину.

Я думаю, то влияние кузины на меня было очень хорошо; теплый элемент взошел с нею в мое келейное отрочество, отогрел, а может, и сохранил едва развертывавшиеся чувства, которые очень могли быть совсем подавлены иронией моего отца. Я научился быть внимательным, огорчаться от одного слова, заботиться о друге, любить; я научился говорить о чувствах. Она поддерживала во мне мои политические стремления, пророчила мне необыкновенную будущность, славу, — и я с ребячьим самолюбием верил ей, что я будущий «Брут или Фабриций».

Мне одному она доверила тайну любви к одному офицеру Александрийского гусарского полка, в черном ментике и в черном доломане; это была действительная тайна, потому что и сам гусар никогда не подозревал, командуя своим эскадроном, какой чистый огонек теплился для него в груди восемнадцатилетней девушки. Не знаю, завидовал ли я его судьбе, — вероятно, немножко, — но я был горд тем, что она избрала меня своим поверенным, и воображал (по Вертеру), что это одна из тех трагических страстей, которая будет иметь великую развязку, сопровождаемую самоубийством, ядом и кинжалом; мне даже приходило в голову идти к нему и все рассказать.

Кузина привезла из Корчевы воланы, в один из воланов была воткнута булавка, и она никогда не играла другим, и всякий раз,



когда он попадался мне или кому-нибудь, брала его, говоря, что она очень к нему привыкла. Демон *espéglerie*¹, который всегда был моим злым искушителем, наустил меня переменить булавку, то есть воткнуть ее в другой волан. Шалость вполне удалась: кухня постоянно брала тот, в котором была булавка. Недели через две я ей сказал; она переменялась в лице, залилась слезами и ушла к себе в комнату. Я был испуган, несчастен и, подождав с полчаса, отправился к ней; комната была заперта, я просил отпереть дверь, кухня не пускала, говорила, что она больна, что я не друг ей, а бездушный мальчик. Я написал ей записку, умолял простить меня; после чая мы помири-

лись, я у ней поцеловал руку, она обняла меня и тут объяснила всю важность дела. Год тому назад гусар обедал у них и после обеда играл с ней в волан, — его-то волан и был отмечен. Меня угрызала совесть, я думал, что я сделал истинное святотатство.

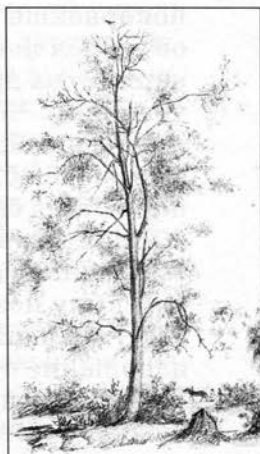
Кухина оставалась до октября месяца. Отец звал ее назад и обещал через год отпустить ее к нам в Васильевское. Мы с ужасом ждали разлуки, и вот одним осенним днем приехала за ней бричка, и горничная ее понесла класть кузовки и картонки, наши люди уложили всяких дорожных припасов на целую неделю, толпились у подъезда и прощались. Крепко обнялись мы, — она плакала, и я плакал, бричка выехала на улицу, повернула в переулок возле того самого места, где продавали гречневика и гороховый кисель, и исчезла; я походил по двору — так что-то холодно и дурно, взшел в свою комнату — и там будто пусто и холодно, принялся готовить урок Ивану Евдокимовичу, а сам думал — где-то теперь кибитка, проехала заставу или нет?

Одно меня утешало — в будущем июне вместе в Васильевском!

Для меня деревня была временем воскресения, я страстно любил деревенскую жизнь. Леса, поля и воля вольная — все это мне было так ново, выросшему в хлопках, за каменными стенами, не смея выйти ни под каким предлогом за ворота без спроса и без сопровождения лакея...<...>

Каждый год или, по крайней мере, через год ездили мы в Васильевское. Я, уезжая, метил на стене возле балкона мой рост и тотчас отправлялся свидетельствовать, сколько меня прибыло. Но я мог деревней мерить не один физический рост, периодические возвращения к тем же предметам наглядно показывали разницу внутреннего развития. Другие книги привозились, другие предметы занимали. В 1823 я еще совсем был ребенком, со мной были детские книги, да и тех я не читал, а занимался всего больше зай-

цем и векшей, которые жили в чулане возле моей комнаты. Одно из главных наслаждений состояло в разрешении моего отца каждый вечер раз выстрелить из фальконета¹, причем, само собою разумеется, вся дворян была занята, и пятидесятилетние люди с проседью так же тешились, как я. В 1827 я привез с собою Плутарха и Шиллера; рано утром уходил я в лес, в чащу, как можно дальше, там ложился под дерево и, воображая, что это богемские леса, читал сам себе вслух; тем не меньше еще плотина, которую я делал на небольшом ручье с помощью одного дворового мальчика, меня очень занимала, и я в день десять раз бегал ее осматривать и поправлять. В 1829 и 30 годах я писал философскую статью о Шиллеровом Валленштейне – и из прежних игр удержался в силе один фальконет.



Впрочем, сверх пальбы, еще другое наслаждение осталось моей неизменной страстью – сельские вечера; они и теперь, как тогда, остались для меня минутами благочестия, тишины и поэзии. <...>

Глава IV

Ник и Воробьевы горы

Напиши тогда, как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, то есть моей и твоей.

Письмо 1833

Года за три до того времени, о котором идет речь, мы гуляли по берегу Москвы-реки в Лужниках, то есть по другую сторону Воробьевых гор. У самой реки мы встретили знакомого нам француза-гувернера в одной рубашке; он был перепуган и кричал: «Тонет! тонет!» Но прежде, нежели наш приятель успел снять рубашку или надеть панталоны, уральский казак сбежал с Воробьевых гор, бросился в воду, исчез и через минуту явился с тщедушным человеком, у которого голова и руки болтались, как платье, вывешенное на ветер; он положил его на берег, говоря: «Еще отходится, стоит покачать».

Люди, бывшие около, собрали рублей пятьдесят и предложили казаку. Казак без ужимок очень простодушно сказал: «Грешно за эдакое дело деньги брать, и труда, почитай, никакого не было, ишь какой, словно кошка. А впрочем, – прибавил он, – мы люди бедные, просить не просим, ну, а коли дают, отчего не взять,

¹ Фальконет – старинная мелкокалиберная пушка.

покорнейше благодарим». Потом, завязавши деньги в платок, он пошел пасти лошадей на гору. Мой отец спросил его имя и написал на другой день о бывшем Эссену. Эссен произвел его в урядники. Через несколько месяцев явился к нам казак и с ним надушенный, рябой, лысый, в завитой белокурой накладке немец; он приехал благодарить за казака, — это был утопленник. С тех пор он стал бывать у нас.

Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес, от них он перешел к одному симбирскому помещику, от него — к дальнему родственнику моего отца. Мальчик, которого физическое здоровье и германское произношение было ему вверено и которого Зонненберг называл Ником, мне нравился, в нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое; он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть; тем не менее сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив; я резов, но боялся его тормозить.

<...>

Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились; мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию.

От Мёроса, шедшего с кинжалом в рукаве, «чтоб город освободить от тирана», от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта, — переход к 14 декабря и Николаю был легок. Мысли эти и эти сближения не были чужды Нику, ненапечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны; разница с пустыми мальчиками, которых я изредка встречал, была разительна.

Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим *буштовским* терроризмом, объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI.

— Всё так, — заметил юный князь О., — но ведь он был помазанник божий!

Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним.

Этих пределов с Ником не было, у него сердце так же билось, как у меня, он также отчалил от угрюмого консервативного берега; стоило дружнее отпихиваться, и мы, чуть ли не в первый день, решились действовать в пользу цесаревича *Константина*!

Прежде мы имели мало долгих бесед. Карл Иванович мешал, как осенняя муха, и портил всякий разговор своим присутствием, во все мешался, ничего не понимая, делал замечания, поправлял воротник рубашки у Ника, торопился домой, словом, был очень противен. Через месяц мы не могли провести двух дней, чтоб не увидеться или не написать письмо; я с порывистостью моей натуры привязывался больше и больше к Нику, он тихо и глубоко любил меня.

Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьезный. Я не помню, чтоб шалости занимали нас на первом

плане, особенно когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте, лета брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука; но основа всего была очень далека от пустого товарищества; нас связывала, сверх равенства лет, сверх нашего «химического» сродства, наша общая религия. Ничего в свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга как на сосуды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили с Ником за город, у нас были любимые места – Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Он приходил за мной с Зонненбергом часов в шесть или семь утра и, если я спал, бросал в мое окно песок и маленькие камешки. Я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти к нему.

Ранние прогулки эти завел неутомимый Карл Иванович.

Зонненберг в помещичье-патриархальном воспитании Огарева играет роль – Бирона. С его появлением влияние старика-дядьки было устранено; скрепя сердце молчала недовольная олигархия передней, понимая, что проклятого немца, кушающего за господским столом, не пересиличишь. Круто изменил Зонненберг прежние порядки; дядька даже прослезился, узнав, что немчура повел молодого барина самого покупать в лавке готовые сапоги. Переворот Зонненберга так же, как переворот Петра I, отличался военным характером в делах самых мирных. Из этого не следует, чтобы худенькие плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикрывались погоном или эполетами, – но природа так устроила немца, что если он не доходит до неряшества и *sans-gêne*¹ филологией или теологией, то, какой бы он ни был статский, все-таки он военный. В силу этого и Карл Иванович любил и узкие платья, застегнутые и с перехватом, в силу этого и он был строгий блюститель собственных правил и, положивши вставать в шесть часов утра, поднимал Ника в 59 минут шестого, и никак не позже одной минуты седьмого, и отправлялся с ним на чистый воздух.

Воробьевы горы, у подножия которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими «святыми холмами».

Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были нештучными делами. В четвероместной карете «работы Иохима», что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную, службу состареться до безобразия и быть по-прежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше. Четыре лошади разного роста и не одного цвета, обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом; это было *запрещено* кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты, какой бы

¹ Бесцеремонности (фр.).

жар ни был; и ко всему этому рядом с равномерно гнетущим надзором моего отца беспокойно суетливый, тормозящий надзор Карла Ивановича, но мы охотно подвергались всему, чтоб быть вместе.

В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку на самом том месте, где казак вытащил из воды Карла Ивановича. Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, избежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах.

Запахавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на изbranную нами борьбу.

Сцена это может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но, видно, одинакая судьба поражает все обеты, данные на этом месте; Александр был тоже искренен, положивши первый камень храма, который, как Иосиф II сказал, и притом ошибочно, при закладке какого-то города в Новороссии, — сделался последним.

Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли. Сила сломила в нас многое, но не она нас сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на все ее удары. Рубцы, полученные от нее, почтенны, — свихнутая нога Иакова была знамением того, что он боролся ночью с Богом.

С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни. Там спрашивал меня Огарев, пять лет спустя, робко и застенчиво, верю ли я в его поэтический талант, и писал мне потом (1833) из своей деревни: «Выехал я, и мне стало грустно, так грустно, как никогда не бывало. А всё Воробьевы горы. Долго я сам в себе таил восторги; застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их, но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством, ты разделял его со мной, и эти минуты незабвенны, они, как воспоминания о былом счастье, преследовали меня дорогой, а вокруг я только видел лес; все было так синё, синё, а на душе темно, темно...

Напиши, — заключал он, как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, то есть моей и твоей».

Прошло еще пять лет, я был далеко от Воробьевых гор, но возле меня угрюмо и печально стоял их Прометей — А.Л. Витберг. В 1842, возвратившись окончательно в Москву, я снова посетил Воробьевы горы, мы опять стояли на месте закладки, смотрели на тот же вид и также вдвоем, — но не с Ником.

С 1827 мы не разлучались. В каждом воспоминании того времени, отдельном и общем, везде на первом плане он с своими от-

роческими чертами, с своей любовью ко мне. Рано виднелось в нем то помазание, которое достается немногим, — на беду ли, на счастье ли, не знаю, но наверное на то, чтоб не быть в толпе. В доме у его отца долго потом оставался большой, писанный масляными красками портрет Огарева того времени (1827–28 года). Впоследствии часто останавливался я перед ним и долго смотрел на него. Он представлен с раскинутым воротником рубашки; живописец чудно схватил богатые каштановые волосы, отрочески неустоявшуюся красоту его неправильных черт и несколько смуглый колорит; на холсте виднелась задумчивость, предвещающая сильную мысль; безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвечивали из серых больших глаз, намекая на будущий рост великого духа; таким он и вырос. Портрет этот, подаренный мне, взяла чужая женщина, — может, ей попадутся эти строки, и она его пришлет мне.

Я не знаю, почему дают какой-то монополь воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различие полов, что она — страстная дружба. С своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности.

Я давно любил, и люблю страстно, Ника, но не решался назвать его «другом», и когда он жил детом в Кунцеве, я писал ему в конце письма: «Друг ваш или нет, еще не знаю». Он первый стал мне писать ты и называл меня своим Агатоном по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру.¹

Улыбнитесь, пожалуй, да только кротко, добродушно, так, как улыбаются, думая о своем пятнадцатом годе. Или не лучше ли призадуматься над своим «Таков ли был я, расцветая?» и благословить судьбу, если у вас была юность (одной молодости недостаточно на это); благословить ее вдвое, если у вас был тогда друг.

Язык того времени нам сдается натянутым, книжным, мы отучились от его неустоявшейся восторженности, нестройного одушевления, сменяющегося вдруг то томной нежностью, то детским смехом. Он был бы смешон в тридцатилетнем человеке, как знаменитое «Bettina will schlafen»², но в свое время этот отроческий язык, этот *jargon de la puberté*³, эта перемена психического голоса — очень откровенны, даже книжный оттенок естественен возрасту теоретического знания и практического невежества.

Шиллер остался нашим любимцем, лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того мы в них видели самих себя. Я писал к Нику, несколько озабочен-

¹ «Philosophische Briefe» <«Философские письма» (нем.)>. (Примеч. А.И. Герцена.)

² Беттина хочет спать (нем.).

³ Жаргон возмужалости (фр.).

ный тем, что он слишком любит Фиеско, что за «всяким» Фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел на маркиза Позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда – торжеством, неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пытью виселицами и каторжной работой на юном поколении?

Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобой в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвечали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлечению. Путь, нами избранный, был не легок, мы его не покидали ни разу; раненные, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошел... не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе выйти, чтоб пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: *«Вот и все!»*

А покамест в скучном досуге, на который меня осудили события, не находя в себе ни сил, ни свежести на новый труд, записываю я *наши* воспоминания. Много того, что нас так тесно соединяло, осело в этих листах, я их дарю тебе. Для тебя они имеют двойной смысл – смысл надгробных памятников, на которых мы встречаем знакомые имена.

<...>



1. Какие события, по твоему мнению, оказали влияние на формирование характера, взглядов А.И. Герцена? Что ты знаешь об этих событиях?
 2. Какие люди повлияли на становление личности Герцена? Что дал каждый из них?
 3. Какую характеристику дает автор императорам Александру I и Николаю I? Какие детали портрета обращают на себя внимание?
 4. Как через зрительное восприятие и через поступки характеризует Герцен императоров и близких ему людей?
- (ТР) 5. Нарисуй устно словесные портреты двух-трех людей, о которых рассказывает Герцен в своих воспоминаниях.
- (П) 6. Что читал Герцен в отрочестве? Прочитай «Кинжал» А.С. Пушкина. Попробуй объяснить смысл этого стихотворения.

7. Как ты думаешь, может ли быть объективной авторская оценка исторических событий? Какие нравственные уроки извлек юный Герцен из всего, что его окружало?

8. Перечитай размышления автора о силе влияния на человека первой любви и юношеской дружбы. Согласен ли ты с ними?

(П) 9. Вспомни или перечитай клятву Васи и Сони на могиле Маруси (повесть В.Г. Короленко «В дурном обществе») и сравни с клятвой Герцена и Огарева на Воробьевых горах. Есть ли что-то общее?

10. Как ты думаешь, какие чувства испытывает автор «Былого и дум», вспоминая свое детство?

11. Созвучны ли в чем-то, по-твоему, прочитанные страницы «Былого и дум» и стихотворение К.М. Симонова «Тринадцать лет...»?

(С) 12. Прочитай в словаре литературоведческих терминов в конце учебника статью «Мемуарная литература», выдели главные ее особенности. Как ты думаешь, почему многие писатели XX века (например, В.П. Катаев, Ю.К. Олеша) считали «Былое и думы» Герцена образцом этого жанра?

(П) 13. Вспомни главы из произведений мемуарной литературы, которые ты читал в 4-м классе в книге «В океане света» (их авторы – А. Болотов, С.Т. Аксаков). Какие особенности мемуарной литературы отразились в этих произведениях?

25 сентября. Я замечаю, что моя страсть к чтению стала трансформироваться: от увлечения занимательным сюжетом, тем, что «интересно», я перешел к внимательному наблюдению за развитием мысли писателя, за ходом его рассуждений, за внутренним развитием героев, их взрослением. Любопытно на-



Памятник А.Н. Радищеву
(скульптор Л.Шервуд)



Открытие памятника
А.И. Герцену
(скульптор Л.Шервуд)



Памятник Ф. Лассалю
(скульптор В.Синайский)



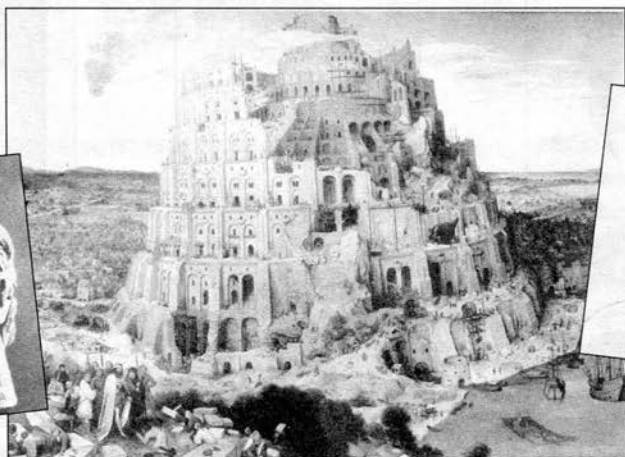
Открытие памятника
Огюсту Бланки
(скульптор Т. Залькалн)

блюдать, как из детства человек переходит в **отрочество**. Удивительное слово: старинное и торжественное. Я знаю, что **отрок** – слово устаревшее, так раньше называли мальчика в возрасте между ребенком и юношей, а девочку – **отроковица**. Может быть, отрочество – это уже ощущение себя частью большого мира?

...Интересно, а кто те люди, что оказали влияние на меня? Родители, кто-то из учителей, старшие ребята во дворе, кумиры из телевизионного мира, музыканты? И что это значит – «оказать влияние»? Я научился у них чему-то, или они заставили меня что-то понять? Больше вопросов, чем ответов. Наверное, у всех есть кумиры, которые кажутся нам воплощением идеала, однако, как правило, это обычные люди со своими слабостями и недостатками. Мы сами идеализируем их и не хотим верить в их обычность, потому что они смогли задеть в нас особые струны души. А потом страдаем или начинаем мстить, если разочаровываемся в них. «Не сотвори себе кумира!...» Вся история человечества – это построение и разрушение памятников.



Лисипп.
Александр
Македонский



И. Босх. Вавилонская башня



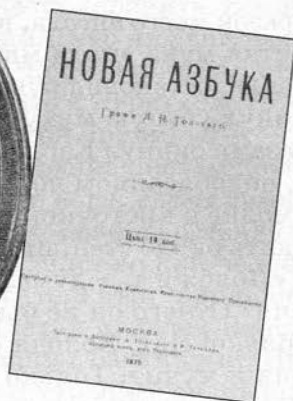
И. Бродский.
В.И. Ленин

Думаю, на нас оказывают влияние самые обычные люди, которые живут рядом, но мы не всегда это осознаем. Более того, боюсь, что ценить их мы начинаем только тогда, когда их не станет. Мои мама и папа, как я вас люблю и как часто расстраиваю вас, как я обещаю себе сегодня сделать для вас что-нибудь очень хорошее, но опять не хватает времени.. Я нахожу у себя много ваших черт и привычек, иногда мне кажется, что я вижу мир вашими глазами. Может, любовь и развитие чувств начинается с того, что надо научиться любить своих родителей, близких?

«Детство» Л. Толстого – удивительный документ. Как откровенно, не стесняясь, он анализирует свое прошлое, не щадя себя. Недавно перечитал эту книгу еще раз, и, мне кажется, я понял, откуда у Толстого взялись силы на ту многолетнюю доброту, которую он отдавал людям.



Л.Н. Толстой



?

ДАВАЙ ПОДУМАЕМ НАД ВОПРОСАМИ

1. Как ты понимаешь, что значит «ощущать себя частью большого мира»?
2. Нужны ли людям кумиры? Есть ли кумиры у тебя? За что ты их любишь?
3. Считаешь ли ты, что нужно учиться любить, учиться чувствовать?
4. Хватает ли у тебя и у твоих родителей времени на общение? Что дает вам это общение?
5. Читая главы из повестей Л.Н. Толстого «Детство» и «Отрочество», попробуй и ты найти ответ на вопрос, в чем истоки доброты и человеколюбия Толстого.



📖 Л.Н. Толстой
(1828–1910)

Детство (главы)

Глава I

Учитель Карл Иванович

12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иванович разбудил меня, ударив над моей головой хлопущкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Ивановича. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим, – думал я, – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, – прошептал я, – как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисером башмачке, повесил хлопущку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

– Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal¹, – крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю.

Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. — Nu, nun, Faulenzer!¹ — говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»

Мне было досадно и на самого себя и на Карла Ивановича, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen sie², Карл Иванович! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Ивановича и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто татап умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иванович оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай — маленький, чистенький человек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Ивановича. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще-несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомыльником в другой, улыбаясь говорил:

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.

Я совсем развеселился.

— Sind sie bald fertig?³ — слышался из классной комнаты голос Карла Ивановича.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иванович был совсем

¹ Ну, ну, лентяй! (нем.).

² Ах, оставьте (нем.).

³ Скоро ли вы будете готовы? (нем.).

другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна – наша, детская, другая – Карла Иваныча, собственная. На нашей были всех сортов книги – учебные и не учебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages»¹, в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом и пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги, – корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на *собственной* если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту – без переплета, один том истории Семилетней войны – в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это – кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпенок. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросившим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься на верх, в классную, смотришь – Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю — ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber¹ Карл Иванович!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна — изрезанная, наша, другая — новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для линейания; с другой — черная доска, на которой кружками отмечались нами большие проступки и крестиками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иванович: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, — а каково мне?» — и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю — право, один страх хуже всякого наказания.

Оглянешься на Карла Ивановича, — а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть и, Бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки.

¹ Милый (нем.).

Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз — здороваться с матушкой.



Глава XIII

Наталья Савишна

В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка Наташка. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Саввы, дед мой взял ее в верх — находиться в числе женской прислуги бабушки. Горничная Наташка отличалась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на Наташку. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволения выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью в наказание на скотный двор в степную деревню. Через шесть месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапезку из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила вернуть ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала свое слово.

С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чепец; весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою.

Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она все жила в барском добре, во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать.

Когда татап вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее двадцатилетние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталье Савишне, и сказа-

ла, что, несмотря на то, будет ли она, или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, матан немного погодя вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной.

— Что с вами, голубушка Наталья Савишна? — спросила матан, взяв ее за руку.

— Ничего, матушка, — отвечала она, — должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните... Что ж, я пойду.

Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комнаты. Матан удержала ее, обняла, и они обе расплакались.

С тех пор как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, ее любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, — тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что, счастлива ли она? довольна ли?

Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в ее комнату, усядешься и начнешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь ее присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена ее комната, или записывала белье и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Иваныча из Саксонии» и т. д., она приговаривала: «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри — как теперь помню — были наклеены крашеное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи, — вынимала из этого сундука куренье, зажигала его и, помахивая, говаривала:

— Это, батюшка, еще очаковское куренье. Когда ваш покойный дедушка — царство небесное — под турку ходили, так оттуда еще привезли. Вот уж последний кусочек остался, — прибавляла она со вздохом.

В сундуках, которыми была наполнена ее комната, было решительно все. Что бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали: «Надо спросить у Натальи Савишны», — и действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала: «Вот и хорошо, что припрятала». В сундуках этих были тысячи

таких предметов, о которых никто в доме, кроме ее, не знал и не заботился.

Один раз я на нее рассердился. Вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть.

– Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика, – сказала мама.

Наталья Савишна вошла и, увидав лужу, которую я сделал, покачала головой; потом мама сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла.

После обеда я в самом веселом расположении духа, припрыгивая, отправился в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна с скатертью в руке, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Меня так это обидело, что я разревелся от злости.

«Как! – говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлебываясь от слез. – Наталья Савишна, просто *Наталья*, говорит *мне ты* и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!»

Когда Наталья Савишна увидала, что я распустил слюни, она тотчас же убежала, а я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить дерзкой *Наталье* за нанесенное мне оскорбление.

Через несколько минут Наталья Савишна вернулась, робко подошла ко мне и начала утешать:

– Полноте, мой батюшка, не плачьте... простите меня, дуру... я виновата... уж вы меня простите, мой голубчик... вот вам.

Она вынула из-под платка корнет¹, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня не доставало сил взглянуть в лицо доброй старушке; я, отвернувшись, принял подарок, и слезы потекли еще обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда.



Глава XV

Детство

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминания о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаясь с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Мама говорит с кем-ни-

будь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая — лицо ее не больше пуговки; но оно мне все так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках; но я пошевелился — и очарование разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

— Ты опять заснешь, Николенька, — говорит мне мама, — ты бы лучше шел наверх.

— Я не хочу спать, мамаша, — ответишь ей, и неясные, но сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко, крепко прижмешь ее к губам.

Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; мама сказала, что она сама разбудит меня; это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос:

— Вставай, моя душечка: пора идти спать.

Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее: она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку.

— Вставай же, мой ангел.

Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать:

— Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!

Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени.

— Так ты меня очень любишь? — Она молчит с минуту, потом говорит: — Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаша, ты не забудешь ее? не забудешь, Николенька?

Она еще нежнее целует меня.

— Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! — вскрикиваю я, целую ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз — слезы любви и восторга.

После этого, как, бывало, придешь наверх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испы-

тываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство.

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, — но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи — единственном человеке, которого я знал несчастливым, — и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: «Дай Бог ему счастья, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать». Потом любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку — уткнешь в угол подушки и любишься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал Бог счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?

Где те горячие молитвы? где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?

Глава XIX

Ивины



— Володя! Володя! Ивины! — закричал я, увидев в окно трех мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками, которые, следуя за молодым гувернером-щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому.

Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с нами лет; вскоре после приезда нашего в Москву мы познакомились и сошлись с ними.

Второй Ивин — Сережа — был смуглый, курчавый мальчик, со вздернутым твердым носиком, очень свежими, красными губами,

которые редко совершенно закрывали немного выдавшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел совершенно серьезно, или от души смеялся своим звонким, отчетливым и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои, во сне и наяву, были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому, что ему надоело чувствовать беспрестанно устремленными на него мои беспокойные глаза, или просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне в не менее сильной степени другое чувство — страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему: может быть, потому, что лицо его имело надменное выражение, или потому, что, презирая свою наружность, я слишком много ценил в других преимущества красоты, или, что вернее всего, потому, что это есть непрменный признак любви, я чувствовал к нему столько же страха, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастья, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на одной точке и беспрестанно мигать, подергивая при этом носом и бровями. Все находили, что эта привычка очень портит его, но я находил ее до того милою, что невольно привык делать то же самое, и чрез несколько дней после моего с ним знакомства бабушка спросила: не болят ли у меня глаза, что я ими хлопаю, как филин. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви; но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях; я же, как ни желал высказать ему все, что было у меня на душе, слишком боялся его, чтобы решиться на откровенность; старался казаться равнодушным и безропотно подчинялся ему. Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным; но выйти из-под него было не в моей власти.

Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя сочувствия.

Странно, отчего, когда я был ребенком, я старался быть похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, часто желал

быть похожим на него. Сколько раз это желание — не быть похожим на маленького, в моих отношениях с Сережей, останавливало чувство, готовое излиться, и заставляло лицемерить. Я не только не смел поцеловать его, чего мне иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел даже называть его Сережа, а непременно Сергей: так уж было заведено у нас. Каждое выражение чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, кто позволял себе его, был еще *мальчишка*. Не пройдя еще через те горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях, мы лишали себя чистых наслаждений нежной детской привязанности по одному только странному желанию подражать *большим*.

Еще в лакейской встретил я Ивиных, поздоровался с ними и опрометью пустился к бабушке: я объявил ей о том, что приехали Ивины, с таким выражением, как будто это известие должно было вполне осчастливить ее. Потом, не спуская глаз с Сережи, я последовал за ним в гостиную и следил за всеми его движениями. В то время как бабушка сказала, что он очень вырос и устремила на него свои пронизательные глаза, я испытывал то чувство страха и надежды, которое должен испытывать художник, ожидая приговора над своим произведением от уважаемого судьи.

Молодой гувернер Ивиных, Herr Frost, с позволения бабушки сошел с нами в палисадник, сел на зеленую скамью, живописно сложил ноги, поставив между ними палку с бронзовым набалдашником, и с видом человека, очень довольного своими поступками, закурил сигару.

Herr Frost был немец, но немец совершенно не того покроя, как наш добрый Карл Иванович: во-первых, он правильно говорил по-русски, с дурным выговором — по-французски и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень ученого человека; во-вторых, он носил рыжие усы, большую рубиновую булавку в черном атласном шарфе, концы которого были просунуты под помочи, и светло-голубые панталоны с отливом и со штрипками; в-третьих, он был молод, имел красивую, самодовольную наружность и необыкновенно видные, мускулистые ноги. Заметно было, что он особенно дорожил этим последним преимуществом: считал его действие неотразимым в отношении особ женского пола и, должно быть, с этой целью старался выставлять свои ноги на самое видное место и, стоя или сидя на месте, всегда приводил в движение свои икры. Это был тип молодого русского немца, который хочет быть молодым и волокитой.

В палисаднике было очень весело. Игра в разбойники шла как нельзя лучше; но одно обстоятельство чуть-чуть не расстроило всего. Сережа был разбойник: погнавшись за проезжающими, он споткнулся и на всем бегу ударился коленом о дерево, так сильно, что я думал, он расшибется вдребезги. Несмотря на то что я был жандарм и моя обязанность состояла в том, чтобы ловить его, я подошел и с участием стал спрашивать, больно ли ему. Сережа рассердился на меня: сжал кулаки, топнул ногой и голосом, кото-

рый ясно доказывал, что он очень больно ушибся, закричал мне:

— Ну, что это? после этого игры никакой нет! Ну, что ж ты меня не ловишь? что ж ты меня не ловишь? — повторял он несколько раз, искоса поглядывая на Володю и старшего Ивина, которые, представляя проезжающих, припрыгивая, бежали по дорожке, и вдруг взвизгнул и с громким смехом кинулся ловить их.

Не могу передать, как поразил и пленил меня этот геройский поступок: несмотря на страшную боль, он не только не заплакал, но не показал и виду, что ему больно, и ни на минуту не забыл игры.

Вскоре после этого, когда к нашей компании присоединился еще Иленька Грап и мы до обеда отправились на верх, Сережа имел случай еще больше пленить и поразить меня своим удивительным мужеством и твердостью характера.

Иленька Грап был сын бедного иностранца, который когда-то жил у моего деда, был чем-то ему обязан и почитал теперь своим неперменным долгом присылать очень часто к нам своего сына. Если он полагал, что знакомство с нами может доставить его сыну какую-нибудь честь или удовольствие, то он совершенно ошибался в этом отношении, потому что мы не только не были дружны с Иленькой, но обращали на него внимание только тогда, когда хотели посмеяться над ним. Иленька Грап был мальчик лет тринадцати, худой, высокий, бледный с птичьей рожицей и добродушно-покорным выражением. Он был очень бедно одет, но зато всегда напомажен так обильно, что мы уверяли, будто у Грапа в солнечный день помада тает на голове и течет под курточку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был очень услужливый, тихий и добрый мальчик; тогда же он мне казался таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать.

Когда игра в разбойники прекратилась, мы пошли на верх, начали *возиться* и щеголять друг перед другом разными гимнастическими штуками. Иленька с робкой улыбкой удивления поглядывал на нас, и когда ему предлагали попробовать то же, отказывался, говоря, что у него совсем нет силы. Сережа был удивительно мил; он снял курточку — лицо и глаза его разгорелись, — он беспрестанно хохотал и затеивал новые шалости: перепрыгивал через три стула, поставленные рядом, через всю комнату перекачивался колесом, становился кверху ногами на лексиконы Татищева, положенные им в виде пьедестала на середину комнаты, и при этом выделывал ногами такие уморительные штуки, что невозможно было удержаться от смеха. После этой последней шутки он задумался, помигал глазами и вдруг с совершенно серьезным лицом подошел к Иленьке: «Попробуйте сделать это; право, это нетрудно». Грап, заметив, что общее внимание обращено на него, покраснел и чуть слышным голосом уверял, что он никак не может этого сделать.

— Да что ж, в самом деле, отчего он ничего не хочет показать? Что он за девочка... непременно надо, чтобы он стал на голову!

И Сережа взял его за руку.

– Непременно, непременно на голову! – закричали мы все, обступив Иленьку, который в эту минуту заметно испугался и побледнел, схватили его за руку и повлекли к лексиконам.

– Пустите меня, я сам! курточку разорвете! – кричала несчастная жертва. Но эти крики отчаяния еще более воодушевляли нас; мы помирали со смеху; зеленая курточка трещала на всех швах.

Володя и старший Ивин нагнули ему голову и поставили ее на лексиконы; я и Сережа схватили бедного мальчика за тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и с громким смехом вскинули их кверху; младший Ивин поддерживал равновесие всего туловища.

Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все замолчали, и в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание несчастного Грапа. В эту минуту я не совсем был убежден, что все это очень смешно и весело.

– Вот теперь молодец, – сказал Сережа, хлопнув его рукою.

Иленька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он ударил каблук по глазу Сережи так больно, что Сережа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольные слезы, и из всех сил толкнул Иленьку. Иленька, не будучи более поддерживаем нами, как что-то безжизненное, грохнулся на землю и от слез мог только выговорить:

– За что вы меня тираните?

Плачевная фигура бедного Иленьки с заплаканным лицом, взъерошенными волосами и засученными панталонами, из-под которых видны были нечищенные голенища, поразила нас; мы все молчали и старались принужденно улыбаться.

Первый опомнился Сережа.

– Вот баба, нюня, – сказал он, слегка трогая его ногою, – с ним шутить нельзя... Ну, полно, вставайте.

– Я вам сказал, что вы негодный мальчишка, – злобно выговорил Иленька и, отвернувшись прочь, громко зарыдал.

– А-а! каблуками бить да еще браниться! – закричал Сережа, схватив в руки лексикон и взмахнув над головою несчастного, который и не думал защищаться, а только закрывал руками голову.

– Вот тебе! вот тебе!.. Бросим его, коли он шуток не понимает... Пойдемте вниз, – сказал Сережа, неестественно засмеявшись.

Я с участием посмотрел на бедняжку, который, лежа на полу и спрятав лицо в лексиконах, плакал так, что, казалось, еще немного, и он умрет от конвульсий, которые дергали все его тело.

– Э, Сергей! – сказал я ему, – зачем ты это сделал?

– Вот хорошо!.. я не заплакал, надеюсь, сегодня, как разбил себе ногу почти до кости.

«Да, это правда, – подумал я. – Иленька больше ничего как плакса, а вот Сережа – так это молодец... что это за молодец!..»

Я не сообразил того, что бедняжка плакал, верно, не столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять мальчиков, которые, может быть, нравились ему, без всякой причины, все согласились ненавидеть и гнать его.

Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа?

Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом! Они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний.

Отрочество

(главы)

Глава V

Старший брат

Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего; но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям.

Мне даже казалось, что Володя сам сознает свое первенство и гордится им. Такое убеждение, может быть и ложное, внушало мне самолюбие, страдавшее при каждом столкновении с ним. Он во всем стоял выше меня: в забавах, в учении, в ссорах, в умении держать себя, и все это отдаляло меня от него и заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. Ежели бы, когда Володе в первый раз сделали голландские рубашки со складками, я сказал прямо, что мне весьма досадно не иметь таких, я уверен, что мне стало бы легче и не казалось бы, всякий раз, когда он оправлял воротнички, что он делает это для того только, чтобы оскорбить меня.

Меня мучило больше всего то, что Володя, как мне иногда казалось, понимал меня, но старался скрывать это.

Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений, проявляющихся в незаметной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе: братьями, друзьями, мужем и женой, господином и слугой, в особенности когда



люди эти не во всем откровенны между собой. Сколько недосказанных желаний, мыслей и страха – быть понятым – выражается в одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!

Но, может быть, меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу; может быть, Володя совсем и не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Увлекаясь самыми разнообразными предметами, он предавался им всей душой.

То вдруг на него находила страсть к картинкам: он сам принимался рисовать, покупал на все свои деньги, выпрашивал у рисовального учителя, у папы, у бабушки; то страсть к вещам, которыми он украшал свой столик, собирая их по всему дому; то страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал по целым дням и ночам... Я невольно увлекался его страстями; но был слишком горд, чтобы идти по его следам, и слишком молод и несамостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому, благородно откровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему.

Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик.

– Кто тебя просил трогать мои вещи? – сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство, произведенное мною в симметрии разнообразных украшений его столика. – А где флакончик? непременно ты...

– Нечаянно уронил; он и разбился, что ж за беда?

– Сделай милость, никогда *не смей* прикасаться к моим вещам, – сказал он, составляя куски разбитого флакончика и с сокрушением глядя на них.

– Пожалуйста, *не командуй*, – отвечал я. – Разбил так разбил; что ж тут говорить!

И я улыбнулся, хотя мне совсем не хотелось улыбаться.

– Да, тебе ничего, а мне *чего*, – продолжал Володя, делая жест подергивания плечом, который он наследовал от папы, – разбил, да еще и смеется, этакой несносный *мальчишка*!

– Я мальчишка; а ты большой, да глупый.

– Не намерен с тобой браниться, – сказал Володя, слегка отталкивая меня, – убирайся.

– Не толкайся!

– Убирайся!

– Я тебе говорю, не толкайся!

Володя взял меня за руку и хотел оттащить от стола; но я уже был раздражен до последней степени: схватил стол за ножку и опрокинул его. «Так вот же тебе!» – и все фарфоровые и хрустальные украшения с дребезгом полетели на пол.

— Отвратительный мальчишка!.. — закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи.

«Ну, теперь все кончено между нами, — думал я, выходя из комнаты, — мы навек поссорились».

До вечера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничем заняться; Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда, после обеда разговаривал и смеялся с девочками.

Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно, неловко и совестно было оставаться одному с братом. После вечернего класса истории я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной добродушно насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

— Николенька! — сказал он мне самым простым, нисколько не патетическим голосом, — полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.

И он подал мне руку.

Как будто, поднимаясь все выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы, и мне стало легче.

— Прости... ме...ня, Воло...дя! — сказал я, пожимая его руку.

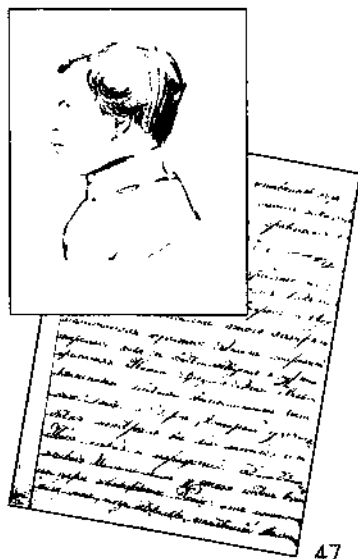
Володя смотрел на меня, однако так, как будто никак не понимал, отчего у меня слезы на глазах...

Глава XIX

Отрочество

Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, — так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.

В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем



жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему.

Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий.

Мысли эти представлялись моему уму с такой ясностью и поразительностью, что я даже старался применить их к жизни, воображая, что я *первый* открываю такие великие и полезные истины.

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексикона Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, — и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.

То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны, мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.

Это рассуждение, казавшееся мне чрезвычайно новым и ясным и которого связь я с трудом могу уловить теперь, — понравилось мне чрезвычайно, и я, взяв лист бумаги, вздумал письменно изложить его, но при этом в голову мою набралась вдруг такая бездна мыслей, что я принужден был встать и пройтись по комнате. Когда я подошел к окну, внимание мое обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер, и все мысли мои сосредоточились на решении вопроса: в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околеет? В это время Володя, проходя через комнату, улыбнулся, заметив, что я размышлял о чем-то, и

этой улыбки мне достаточно было, чтобы понять, что все то, о чем я думал, была ужаснейшая гиль¹.

Я рассказал этот почему-то мне памятный случай только затем, чтобы дать понять читателю о том, в каком роде были мои умищования.

Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния близкого сумасшествия. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я, под влиянием этой *постоянной идеи*, доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (neant) там, где меня не было.

Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности — ум человека!

Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрагивать.

Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка.

Отвлеченные мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминание. Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? — я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил...

Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных; но, странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым, и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение.

¹ Гиль (стар.) — вздор, чепуха, бессмыслица.



1. О каких «людях из своего детства» рассказывает автор в повести? Как ты думаешь, почему он выбрал именно их?
2. На примере одного из героев покажи, какую роль в создании характера играют художественные детали.
3. Дай характеристику одному из героев-взрослых. Проанализируй его портрет, речь, поступки, взаимоотношения с другими героями.
4. Как ты думаешь, почему Наталья Савишна порвала вольную?
5. Какими главными качествами обладали люди, которые окружали писателя в детстве?
6. Дай характеристику Сереже Ивину. Чем он был так интересен маленькому Николеньке?
7. Чем потряс Николеньку случай с Иленькой Грапом?
8. Какую роль в жизни Николеньки играл старший брат?
9. Почему рассказчик с грустью вспоминает свои детские восторги и печали?
10. Как автор рассказывает о переходе своего героя из детства в отрочество? Что изменилось в нем? Докажи, что характер Николеньки показан в развитии.
11. Докажи, что ступенькой взросления Николеньки было понимание им окружающих людей.
12. Прозу Л.Н. Толстого отличает **психологизм**, т.е. углубленное изображение душевных переживаний героя. Покажи это на примере Николеньки Иртеньева.
- (П) 13. Есть ли что-то общее в детских воспоминаниях А.И. Герцена и Л.Н. Толстого? Как развивался внутренний мир юного Герцена? Николеньки Иртеньева?
14. Повести Л.Н. Толстого «Детство» (1852), «Отрочество» (1854) и «Юность» (1856) составляют **автобиографическую трилогию**. В ней отразились многие факты личной жизни Л.Н. Толстого. Что ты узнал на основании прочитанного о детстве и отрочестве Л.Н. Толстого, с биографией которого ты будешь знакомиться позднее?
15. Героя трилогии зовут Николенька Иртеньев, а не Лёвушка Толстой, и повествование ведётся от его лица. Как ты можешь это объяснить? Попробуй определить основную тему повести «Детство».
- (С) 16. Что отличает мемуары от художественного автобиографического повествования? Всегда ли их легко различить?
- (ТР) 17. Расскажи или напиши о своих самых ярких воспоминаниях детства, о людях, которые повлияли на твоё становление.
18. Давай прочитаем стихотворение Арсения Тарковского «Белый день» и подумаем, каким настроением оно наполнено, какое душевное состояние передает. Каким уже прочитанным произведениям о детстве созвучно это стихотворение?

А.А. Тарковский

Белый день

Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.

В цвету серебристый тополь,
Центифолия, а за ней –
Вьющиеся розы,
Молочная трава.

Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.

Вернуться туда невозможно
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Этот райский сад.

1942



2 октября. Как хорошо, что все еще стоит солнечная погода. Я сегодня сидел в лекционной аудитории в университете и не мог оторвать взгляд от солнечных бликов, бегающих по стенам. Плохо: прослушал часть лекции, ладно, перепишу у кого-нибудь. Последние солнечные дни наводят на «философские» размышления.

В университет заезжал мой младший брат, я достал ему для школы кое-какие книги. Не могли с ним наговориться. Почему мы так часто ссорились в детстве и когда жили все вместе? Между нами всего пять лет, а он уже человек другого времени. Может, действительно, нас формирует историческая эпоха, и чем быстрее меняется она, тем сильнее отличаются люди разных поколений, даже родные, друг от друга. И все-таки: что нас формирует, делает такими, как мы есть, на всю оставшуюся жизнь? Отрочество? Или детство? Не знаю. Знаю только, что в брате, несмотря на нашу разность, есть что-то очень близкое, и поэтому я чувствую себя защищенным. Брат в отличие от меня – человек честолюбивый и хорошо знает, чего хочет. Именно поэтому в

школе он не дает себе никаких поблажек, все подчинил будущему. А меня учили, что нужно жить настоящим и что честолюбие – это плохо. И все-таки, братишка, будь таким, какой ты есть, таким я тебя люблю. Ты не забываешь обо мне и о родителях. И тебе досталось, быть может, даже более сложное время, чем Герцену и Толстому. Надеюсь, что завтра у нас не случится ничего ужасного и в моих мыслях не будут искать некую скрытую печаль, как, скажем, в «Воспоминаниях» М. Цветаевой: о событиях, проходивших за год до Первой мировой войны, написано в период репрессий.

Думаю, сегодняшний день останется в моей памяти как очень счастливый, но не смогу объяснить почему.

?

ДАВАЙ ПОДУМАЕМ НАД ВОПРОСАМИ

1. Как ты понимаешь выражение «родной человек»? Только ли в кровном родстве дело?
2. Как бы ты охарактеризовал время, в которое живешь? Какой отпечаток, на твой взгляд, накладывает оно на людей? на литературу?
3. Есть ли в твоей жизни день, который ты запомнил как счастливый, хотя ничего «выдающегося» в этот день не произошло?

Информация
для тебя

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941)



Марина Ивановна Цветаева – яркий и значительный поэт первой половины XX века, человек, в ранней юности провозгласивший свой главный жизненный принцип – быть только самой собой, ни в чем не зависеть ни от времени, ни от среды – и всю жизнь, ценой страшных жизненных трагедий, пытавшийся следовать ему. Мясорубка событий начала XX века перемалывала судьбы людей, а Марина Цветаева наперекор всему всегда пыталась плыть «против течения».

Марина Цветаева родилась в Москве 26 сентября 1892 года в образованной и высококультурной семье, где страстно увлекались наукой и искусством. Отец ее, Иван Владимирович Цветаев, профессор Московского университета, известный филолог и искусствовед, стал в дальнейшем директором Румянцевского музея и основателем Музея изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Сегодня можно увидеть

у входа в здание музея мемориальную доску в честь И.В. Цветаева — основателя музея, собирателя и хранителя музейных ценностей. Мать М.И. Цветаевой была талантливой пианисткой, натурой художественно одаренной. Она умерла совсем молодой в 1906 году. Воспитанием и образованием детей — дочерей Марины и Анастасии и их сводного брата Андрея — занимался отец, глубоко любивший своих детей. Он позаботился о том, чтобы дети знали несколько европейских языков, познакомились с классикой русской и зарубежной литературы.

Семья Цветаевых жила в уютном особняке в одном из московских переулков, лето проводила в калужском городе Тарусе, иногда в заграничных поездках.

Уже в шесть лет Марина начала писать стихи на русском и французском языках, в восемнадцать лет выпустила свой первый поэтический сборник «Вечерний альбом» (1910). Этот сборник высоко оценил поэт Валерий Брюсов, он выделил Марину Цветаеву из большого числа молодых поэтов. Максимилиан Волошин, прочитав сборник, посетил Марину. Они говорили о поэзии, и эта беседа положила начало дружбе двух поэтов. Позже, когда Волошин жил в Крыму, в Коктебеле, Цветаева неоднократно гостила у него и всегда вспоминала эти дни как самое счастливое время. После смерти поэта в 1932 году Цветаева посвятила ему цикл лирических стихотворений и воспоминания «Живое о живом».

В 1912 году Марина Цветаева вышла замуж за Сергея Эфрона, друга юности. У нее выходят еще два сборника: «Волшебный фонарь» (1912) и «Из двух книг» (1913). Цветаева пишет стихи очень личные, очень самобытные, но они затрагивают души многих людей.

...Уютный мир любви и домашнего тепла был разрушен вторгшейся в нее Историей: Первая мировая война, затем Революция 1917 года, Гражданская война. Муж Марины Цветаевой Сергей Эфрой не изменяет воинскому долгу, воюет в рядах белой гвардии и после ее разгрома вынужден эмигрировать. Марина живет с дочкой в России, далеко от любимого человека. У нее выходят книги: «Версты» и поэма-сказка «Царь-девица». Но ей хочется быть рядом с мужем. В 1922 году она наконец получает разрешение выехать за границу к мужу, который в это время живет в Праге. Семья живет недолго в Берлине, затем в окрестностях Праги, а в 1925 году переезжает в Париж.

Цветаева с ее бескомпромиссным и самобытным характером не могла «вписаться» в эмигрантскую среду. Русских, вынужденных покинуть Россию, было за границей очень много, и семья Марины стала одной из семей, ведущих бесприютное, полуголодное существование. Цветаевой удается издать несколько сборников: «Разлука», «Психея», «Ремесло» и последнюю прижизненную книгу «После России». Но поэзия не может кормить... Через двенадцать лет почти нищенского существования поэтесса напишет в одном из писем: «Надо мной здесь лютуют, играя на моей гордыне, моей нужде и моем бесправии (защиты нет)» И далее: «Нищеты, в которой я живу, вы себе представить не можете, у меня же никаких средств к жизни, кроме писания. Муж болен и работать не может. Дочь вязкой шапочек зарабатывает пять франков в день, на них вчетвером (у меня сын 8-ми лет, Георгий) живем, т.е. просто медленно подышаем с голоду». И тут же признается: «Не знаю, сколько мне еще осталось жить, не знаю, буду ли когда-нибудь еще в России, но знаю, что до последней строки буду писать сильно, что слабых стихов не дам».

Ностальгия по России и многолетнее одиночество в неставшей своей эмигрантской среде все чаще приводили мужа и дочь Марины к мысли о возвращении на родину. В 1937 году Сергей Эфрон с дочерью получают советское гражданство и возвращаются в Россию с надеждой на новую жизнь. Вслед за ними в 1939 году приезжает в Россию и Марина с сыном. Они тоже полны надежд, но семья исторически обречена... Сергея Эфрона арестовывают по сфабрикованному «делу» и расстреливают как «врага народа». Дочь тоже арестована, причем на глазах у Марины, и больше она ее никогда не увидит. Их обоих, отца и дочь, реабилитируют после 1953 года. А пока Цветаева с сыном, бездомная, живет по знакомым... Начинается Великая Отечественная война. Они едут в эвакуацию в город Чистополь, а затем в Елабугу. Здесь, не выдержав несчастий и одиночества, 31 августа 1941 года Марина Цветаева кончает с собой...



Ася и Марина Цветаевы

М.И. Цветаева

Воспоминания (главы)

2

Шарлоттенбург

Мне скоро шестнадцать, Асе – четырнадцать. Три года тому назад умерла наша мать.

Шарлоттенбург близ Берлина. Знойное время дня и года. Водопады, потоки, обвалы солнца. Устрашающая девическая мода тех лет: длинные юбки, длинные рукава, тиски обшлагов и пройм, капканы воротников. Не платья – тюрьмы! Черные чулки, черные башмаки. *Ноги черные!*

– Папа, долго еще?

Шагаем уже добрых полчаса, а час ходьбы с отцом стоит целого дня с иным скороходом.

– Скоро, скоро, еще минут пятнадцать-двадцать, не больше!

Отец мой – страстный, вернее – отчаянный, еще вернее – *естественный* ходок, ибо шагает – как дышит, не осознавая самого действия. Перестать ходить для него то же, что для другого – перестать дышать. Мы с сестрой, пыхтя, следуем. Идем гуськом – отец впереди, за ним – я, за мной – Ася.

«Городок Шарлотты» (какой-нибудь «Великой», должно быть, раз назван ее именем) – Шарлоттенбург вымер начисто. Ставни закрыты. Вокруг – ни собаки. Единственные собаки на улице – мы. Сказала: «закрытые ставни». А есть ли они вообще? Ставни? Дома? – Не знаю, и знать не могу, так как иду, не поднимая голо-

вы, загнипнотизированная движением собственных черных ног по белой мостовой.

— Папа, скоро? — это опять Ася спрашивает, я же, из гордости врожденного пешехода — и прочих своих гордостей — молчу.

— Шесть черных башмаков по белой мостовой.

Два впереди, два вслед, два замыкающих.

Но не может же так длиться вечно! Надо что-то придумать. И — придумываю. Все это — только сон. Я сплю. Потому что такой жары — до седьмого пота; такого раскаленного света, словом, такого *ужаса* просто *не может быть*. И поскольку любому, даже самому долгому сновидению срок — три минуты, не более, значит, я не успела устать. Даже во сне.

Стоило лишь убедиться — усталости как не бывало.

И — голос отца:

— Вот мы и пришли.

Громадная, если не бесконечная, Gipsabgusserei: склады гипсовых слепков с мраморных подлинников.

Статуи, статуи, статуи.

— Вы у меня молодцы, шли — не ныли, — говорит отец, вытирая лоб, — в награду дарю каждой по слепку, даже по два. Выбирайте, что вам понравится, пока мы тут побеседуем с господином директором. Будьте умницами, мы недолго.

Итак, мы с Асей одни в зачарованной стране, одни — странно-черноногие среди всех этих застывших, бело- и голоногих. Начинаем поиски, от статуи к статуе, от торса к торсу, от головы к голове. По правде сказать, я не очень люблю скульптуру. Вот если бы отец предложил мне вместо двух слепков на выбор две книги, я бы тотчас назвала с десятка самых вожделенных. Но — делать нечего. Постараемся хотя бы напасть на что-нибудь не слишком статуйное.

Расходимся в разные стороны, чтобы, упаси господи, не брать одно и то же. Время от времени, как в лесу за грибами:

— Ау-у! Нашла?

— Нет еще, а ты?

— И я нет.

— Ты меня видишь?

— Вижу!

— Ты где?

— Здесь!

Игра в прятки среди статуй. Наконец вопль Аси:

— Есть! Кажется, мальчик!

Полная ревнивого любопытства, я бы помчалась на ее голос, но не очень-то тут помчишься. Пробираюсь, даже протискиваюсь.

Действительно мальчик. Наш сверстник, даже, пожалуй, моложе — и с нашей челкой на лбу. Не статуя, не торс — голова.

— Нравится?

— Для тебя — да, для себя — нет.

Не успеваю скрыться в дебрях человеческих окаменелостей, как снова — зов.

– Еще нашла! Опять мальчик!
Подхожу, и, взглядевшись:
– Никакой это не мальчик.
– Мальчик!
– Говорю тебе – не мальчик.
– Ну, знаешь, ты с ума сошла, если считаешь это – девочкой!
– А я и не говорю, что девочка. Скорее – ангел.
– А крылья?
– Значит – греческий ангел. Или римский. Во всяком случае – не человеческий мальчик.
– Человеческий – не человеческий, зато у меня их два, а у тебя – ничего.

И правда – ничего. Потому что хочу чего-то очень *своего*, не выбранного, а полюбленного с первого взгляда, *предначертанного*. Что не менее трудно, чем найти жениха.

Ах, если бы здесь была голова Бонапарта! Я давно бы схватила ее, притиснула бы к груди – но он родился куда позже Греции и Рима! Ну, а Цезаря мне не нужно; Марка Аврелия тоже.

Остается продолжать поиски среди женщин.

И – вот она! Вот – отброшенная к плечу голова, скрученные мукой брови, не рот, а – крик. Живое лицо меж всех этих бездушных красот!

Кто она? – Не знаю. Знаю одно – *моя*! И так как столь же *моего* мне больше не найти, и так как мне ничего (никого!), кроме нее, не нужно – не раздумывая, присоединяю к ней некую благонравную и туповатую девицу с чем-то вроде шарфика на волосах – первую попавшуюся!

Найдя – прогуливаемся.

– Конфетку хочешь?

– Давай!

В моих, уже слипшихся, пальцах каплей крови – кислый русский леденец, носящий французское – времен их эмиграции? – название «монпансье». Переглядываемся и – одним и тем же молниеносным движением вталкиваем: Ася – зеленую, я – красную конфету в разверстые пасти: Льва – (Ася), Героя – (я).

До чего же этот изумруд и этот гранат оживляют белизну гипсовых языков!

Сестра, засунув руку поглубже:

– Знаешь, у них нет глотки. Совсем. Там внутри – тупик!

(Голос отца. «Ася, Муся!» – «Сейчас, папа!»)

– Надо их вынуть!

– Нет, оставим!

– Но что директор подумает?

– Он и не увидит: у него очки. Да если и увидит – никогда не поверит, что дочери нашего отца...

– А если и поверит, то никогда не решится сказать...

– А если и решится, то не успеет...

– ...Ну как, выбрали?

О, ужас! Папа с директором направляются в нашу сторону!

– Нашли себе что-нибудь по вкусу, милые барышни? (Директор.)

– Вот это – и это – и это – и это.

– Сразу видно, что вы – дочери своего отца! (Одобрительно:) Донателло – и – (забыла имя) – и Амазонка – и Аспазия. Прекрасный, прекрасный выбор. Разрешите мне, уважаемый профессор, преподнести эти слепки вашим дочкам!

Итак, моя любовь с первого взгляда – Амазонка! Возлюбленный враг Ахиллеса, убитая им и им оплаканная, а та, другая, благонаправная моя «первая попавшаяся» – не кто иной, как *Аспазия*!

– Поблагодарите же господина директора за чудесный подарок!

Благодарим. Но истинную нашу благодарность господин директор обнаружит несколько погодя – в разинутых пастях Героя и Льва.

Довольные, покидаем заколдованное царство.

– А теперь пойдем выпьем пива, – говорит отец.

1936

Мундир

Для отца моего новая одежда была не радостью, а горем, если не катастрофой.

– Папа, пора тебе сшить костюм. Твой ведь...

– Еще годится. Крепкий и без единой дырки...

– Но цвет...

– Не может быть иным после пятилетней носки. Доживешь до моих лет – узнаешь, что такой срок и нас не украшает.

– А все же, папа, почему бы тебе не заказать новый костюм?

– Зачем, когда мне и этот хорош? А если другим не нравится, пусть не смотрят. И вообще – кто будет по одежде встречать и провожать старого профессора?

На следующий день окликает на лестнице моего брата:

– Андрей, слушай, Андрей, не помнишь ли адреса моего приятеля – портного Володина? Я все же решил его перелицевать.

– Что?!

– Пиджак перелицевать.

– Купи себе лучше новый!

– Купи, купи... Это ты привык, с колыбели нужды не знаешь. А я учился на медные деньги и не привык бросаться тем, что еще может послужить.

Поймите меня: это не было скупостью.

Вернее – было. Скупостью в превосходной степени.



И.В. Цветаев
в парадном мундире

Скупость сына бедных родителей, стеснявшегося тратить на себя то, чего не могли на себя тратить они, трудившиеся до последнего вздоха.

Итак – скупость, являющая собой сыновнее уважение.

Скупость бывшего нищего студента, чьи нынешние траты как бы наносили ущерб нынешним нищим студентам.

Итак – верность своей юности.

Скупость земледельца, знающего, с каким трудом земля родит деньги.

Итак – верность земле.

Скупость аскета¹, которому *всё* лишнее для себя – тела и *все-го* слишком мало для себя – духа; аскета, сделавшего выбор между вещью и сутью.

Скупость каждого, *делом* занятого человека, знающего, что любая трата – прежде всего трата времени.

Итак – скупость: экономия времени.

Скупость каждого, живущего духовной жизнью и которому просто *ничего не нужно*. (Отрешенность Льва Толстого от всех благ земных была не «фантазией», а *потребностью*, ибо писателю куда сложнее управлять имуществом, чем раздавать его. Ибо обыкновенный некрашенный стол нужнее полированного письменного, со множеством ящиков, наполненных лишними вещами, захламляющими в первую очередь голову. Приверженность Вагнера к роскошным декорациям жизни всегда была для меня загадкой большей, чем его гений.)

Итак, скупость: духовность.

(Все эти скупости недаром мне ведомы – я их унаследовала от отца, среди многого иного! Выиграй я завтра миллион, я купила бы себе не норковое манто, а честную шубу на овчине, самой простой выделки, как все наши крестьяне носили. Овчина – *не* каракуль. Теплая, без сносу, не вызывающая ни зависти, ни неловкости, ни угрызений.)

Скупость дающего, наконец: быть скупым, чтобы мочь раздавать.

Ибо раздаивал он до последнего вздоха, ибо последний вздох его был актом отдачи, сожалением, что не хватило еще нескольких лет жизни для перестройки – на собственный счет, на тройной свой оклад профессора, директора и почетного опекуна – музейных колонн, *показавшихся* критикам слишком тонкими по отношению к высоте.

...А сколько бедных студентов, бедных ученых, бедных родственников поддерживал он!

Но заметим себе: щедрость его была расчетлива в мелочах; вручая, например, студенту двести рублей на поездку в Италию, он не

забывал уточнить: «А до вокзала отправляйтесь на трамвае, это в десять раз скорее и в десять раз дешевле, чем на извозчике: там пятак, а тут полтинник!»

— Главный удар по отцовской «скупости» был нанесен мундиром. Мундиром «Почетного опекуна» (звание, полученное за создание музея). Мундиром, которого нельзя перелицевать, раз он еще не существует. Который *должен* быть новее нового, ибо весь — в золотом шитье!

— Да, но это обойдется мне в семьсот рублей! — таков был ответ отца на наши поздравления его с новым званием.

— Неужели за звание надо платить?

— За звание — нет. За мундир.

— Как! У тебя будет мундир? Шитый серебром?

— Если бы серебром...

Потом начались примерки — проходившие в гробовом молчании.

— Раз он портной, пусть смотрит сам. *Его* дело!

Впрочем, на моей памяти отец ни разу не бросил *сознательно* го взгляда на зеркало. Безмолвные примерки, за которыми следовало глухое, медвежье ворчанье:

— Семьсот рублей за одежду — да это форменный грабеж! Прикинем: на семьдесят пять рублей сукна, да на сотню серебряного и золотого шитья, — материал и работа — да полсотни портному... ах, еще на подкладку рублей двадцать пять — вот вам всего-навсего двести пятьдесят — и это *хорошая* цена! Пусть будет, для очистки совести, триста. Куда же деваются еще четыре сотни? Кому?

— Но, папа, ведь придворный портной берет за работу не пятьдесят рублей, как обыкновенный.

— Придворный, обыкновенный... Есть только два разряда портных — плохие и хорошие. А для меня все они хороши, было бы во что вдеть руки и ноги! Придворный портной! Выходит, что переплачиваешь за звук, за слово «двор»!

Наконец мундир готов, и мы помогаем отцу попасть в рукава и застегнуться на все крючки.

Восклицания восторга: «Какая красота! Как ты в нем хорош! Да посмотри же на себя!»

Он бросает в сторону зеркала растерянный и недоверчивый взгляд близорукого — чтобы тотчас же отвести глаза.

— Хорош! — даже слишком! — И, повторяя привычный свой припев: «Семьсот рублей потратить на себя! Стыд и позор!»

— Так это же не на себя, а для музея, папа!

Он, настораживаясь:

— Постой, постой, постой... как ты сказала?

– Для музея. Чтобы почтить твой музей. Твой новый музей – твоим новым мундиром. Мраморный музей – золотым мундиром.

– У тебя красноречие твоей матери. Она все могла со мной сделать – словами.

– Да ведь это не слова, папа. Это – глазами видишь. Белая лестница музея, а наверху, меж двумя колоннами – ты. В темно-синем, серебряном, золотом... Посмотри, что за прелесть это шитье! Листья... веточки...

– Если бы не золото!

– Но ведь оно – почти совсем не золото! Так – тень золота, едва заметная, даже чуть зеленоватая. Скромный, *благородный* вид!

– Да, в глаза как будто бы не бьет. Но выглядеть такой... иконой!

И – со вздохом:

– Разве что для музея...

1936

Лавровый венок



Государственный музей
изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина

День открытия музея. Едва занявшееся утро торжественного дня. Звонок. Курьер из музея? Нет, голос женский.

Разбуженный звонком, отец уже на пороге зала, в старом своем, неизменном халате, серо-зеленоватом, цвета ненастья, цвета Времени. Из других дверей, навстречу ему – явление очень красивой, очень высокой женщины, красивой, высокой *дамы* – с громадными зелеными глазами в темной, глубокой и широкой оправе ресниц и век, как у Кармен, – и с ее же смуглым, чуть терракотовым румянцем.

Это – наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери – Лидия Александровна Т., урожденная Гаврино, полуукраинка, полунеаполитанка – княжеской крови и романтической души.

Отец, разглядев посетительницу:

– Ради Бога, извините, Лидия Александровна! Я в таком виде... Не знал, что это вы, думал – курьер. Позвольте, я... (смущенно показывая на халат).

– Нет, нет, нет, дорогой мой, глубокоуважаемый Иван Владимирович! Так гораздо лучше. В этот знаменательный день халат ваш похож на римскую тогу. Вот именно – тогу. Даже на греческий пеплум. Да.

– Но... (отец, конфузясь все больше) я, знаете, как-то не привык...

– Уверяю вас – настоящая тога мудреца! К тому же через несколько часов вы предстанете нам во всем своем блеске. Я так рано, потому что хотела первой поздравить вас с этим великим днем, самым прекрасным днем вашей жизни – и моей тоже. Да, и моей. В которой мне никогда ничего не дано было *создать*. Мне не было дано этого счастья. Поэтому я вас так и полюбила. Сразу полюбила. И буду любить – до последнего вздоха. За то, что вы – созидатель. Вот именно – созидатель. Я *должна* была первой поблагодарить вас за подвиг вашей жизни, за подвиг вашего труда. От имени России и от своего я принесла вам – вот это.

Перед ошеломленным отцом – лавровый венок.

– Позвольте, позвольте, позвольте...

– Наденьте его – сейчас же, тут же, на моих глазах. Пусть он увенчает ваше прекрасное, ваше благородное чело!

– Чело? Лидия Александровна, голубушка, я бесконечно тронут, но... лавровый венок... мне?! это, право, как-то даже и некстати!

(В своей полнейшей отрешенности от *внешнего*, отец и не задумывается о том, как может *выглядеть* лауреат в халате!)

– Нет, нет, нет, не спорьте! – посетительница, с вызовом на устах и со слезами на глазах. – Я *должна* увенчать вас, хотя бы на мгновенье!

И, пользуясь тем, что отец мой, движением смущенной благодарности, протягивает ей обе руки, она предательским, воистину итальянским, жестом, возлагает, нет, нахлобучивает ему на голову венок.

Он, отбиваясь:

– Прошу вас, не надо! Не надо!

Она, умоляюще:

– О, не снимайте! Он так вам к лицу!

И, со всей страстью восхищения (ибо восхищение – величайшая из ведомых мне страстей!) – целует его, – тридцатипятилетняя красавица – почти семидесятилетнего старика, в увенчанный лаврами лоб.

Мгновение спустя (венки уже снят и бережно положен на стол) просительница, все еще стоя и сжимая руки моего отца в своих:

– Хочу, чтоб вы знали: это – римский лавр. Я его вышила из Рима. Деревцо в кадке. А венок сплела сама. Да. Пусть вы родились во Владимирской губернии, Рим – город вашей юности, и душа у вас – римская. Ах, если бы ваша жена имела счастье дожить до этого дня! Это был бы *ее* подарок!

Отец мой скончался 30 августа 1913, год и три месяца спустя после открытия музея. Лавровый венок мы положили ему в гроб.

1936

В субботу



Темнеет... Готовятся к чаю...
Дремлет Ася под маминой шубой.
Я страшную сказку читаю
О старой колдунье беззубой.
О старой колдунье и гномах,
О принцессе, ушедшей закатом.
Как жутко в лесу незнакомом
Бродить ей с невидящим братом!
Одна у колдуньи забота:
Подвести его к пропасти прямо!
Темнеет... Сегодня суббота.
И будет печальная мама.
Темнеет... Не помнишь о часе.
Из столовой позвали нас к чаю.
Клубочком свернувшейся Асе
Я страшную сказку читаю.



1. Какие детали в тексте говорят о том, что Марина Цветаева помнит свое детство через цвета и поэтические образы?
2. В чем видит Цветаева предзнаменование будущего при выборе гипсовых слепков? Что говорит о характере Марины ее выбор?
3. Как ты думаешь, почему так ярко врезался в память М. Цветаевой эпизод детства – шитье нового мундира для отца?
4. Принято считать, что скупость – отрицательная черта человеческого характера. Почему же Марина Цветаева с благоговением вспоминает это свойство характера своего отца?
5. Каким человеком тебе представляется Иван Владимирович Цветаев по воспоминаниям дочери?
6. Кто такой соиздатель? Почему Лидия Александровна так назвала отца Марины и Аси?
- (П) 7. Каким человеком тебе представляется Марина Цветаева по ее воспоминаниям? Перечитай знакомое тебе стихотворение «В субботу, биографию поэта. Что они добавляют к образу, который сложился у тебя? Что нового для себя ты открыл в стихотворении?
- (П) 8. Какие мысли объединяют стихотворение А. Тарковского «Белый день» и прочитанные тобой главы из «Воспоминаний» М. Цветаевой? Какие близкие символы детства встречаются у обоих авторов?
- (П) 9. Может ли стихотворение А. Тарковского послужить эпиграфом к «Воспоминаниям» М. Цветаевой?

10 октября. Что мы помним о своем детстве? Отдельные события, эпизоды, свои детские мечты. Кто-то, повзрослев, посмеивается над этими мечтами, а кто-то остается верен им всю жизнь. Мне кажется, именно они, детские мечты, вместе с любовью к своей семье и являются теми корнями, которые держат нас всю жизнь. Думаю, что писатели, как и все люди, в своих детских воспоминаниях не вполне объективны. Все мы что-то домысливаем, досочиняем к своим судьбам, но в то же время и это тоже правда глазами определенного человека. Вряд ли проблема соотношения вымысла и исторической правды в литературе может быть решена...

?

ДАВАЙ ПОДУМАЕМ НАД ВОПРОСАМИ

1. Зачем вообще нужна автобиографическая и мемуарная литература? В какой из них ярче выражено художественное начало?
2. Как ты думаешь, почему два человека рассказывают об одном и том же событии по-разному? От чего это зависит?

Сергей Александрович Есенин (1895–1925)

Сергей Александрович Есенин – известный русский поэт. Многие его стихи стали народными песнями. В стихах Есенина есть особая, щемящая нота, которая трогает душу каждого человека, чьим родным языком является русский язык.

С.А. Есенин родился 21 сентября 1895 г. в селе Константинове Рязанской губернии, погиб 28 декабря 1925 г. в Петрограде. За свою короткую творческую жизнь Есенин создал произведения, которые принесли ему народную любовь и бессмертие.

Поэт родился и вырос в крестьянской семье. Отец его, Александр Никитич, служил в лавке в Москве и в деревне бывал наездами. Раннее детство Сергея прошло в доме деда и бабки по матери, оно было беззаботным, не отягощенным крестьянским трудом. «Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи...». «Стихи начал писать рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки» (С. Есенин. «Автобиография», 1923).



Информация
для тебя

В 1904 г. Есенин поступил в Константиновское земское четырехклассное училище, два года учился в 3-м классе, но закончил училище в 1909 г. с отличием, а затем – учительскую школу в селе Спас-Клёпки, получил звание «учитель школы грамоты». «Родные хотели, чтобы из меня вышел сельский учитель», – писал Есенин в «Автобиографии». К этому периоду относятся его первые сохранившиеся стихи.

В 1912 г. С. Есенин переезжает в Москву. Сначала работает в мясной лавке, где служит его отец, а затем в конторе книгоиздательства «Культура», в типографии И.Д. Сытина. Он знакомится с писателями и поэтами, сам много пишет, в 1913 г. делает первую, неудачную попытку опубликовать свои стихи. В 1914 г. его попытка удается, и стихи Есенина начинают регулярно появляться в печати.

Важным в поэтической судьбе С. Есенина был его приезд в Петербург и встреча с Александром Блоком, в то время уже известным поэтом. Блоку понравились стихи Есенина, он дал молодому поэту несколько рекомендательных писем. Сохранилась запись, сделанная Блоком в дневнике после встречи с Есениным: «...Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык...»

У Есенина много стихотворений о семье, о доме, о родной земле, он пытается осмыслить прошлое и настоящее своей страны. Поэзия Есенина – это и грусть, и молодецкая удаль, и озорство, и чувство одиночества, и отчаяние, и вера в жизнь. Его стихи поэтичны, просты и понятны. Может быть, и в этом тоже их секрет.

С.А. Есенин

Мой путь (фрагмент)

Жизнь входит в берега.
Села давнишний житель,
Я вспоминаю то,
Что видел я в краю.
Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою.

Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,
Что я сберег те
Все ощущения детских лет.



Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот...
И бабка что-то грустное,
Степное пела,
Порой зевая
И крестя свой рот.

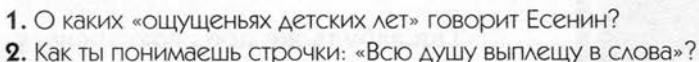
Тогда империя
Вела войну с японцем,
И всем далекие
Мерещились кресты.

Я помню только то,
Что мужики роптали,
Бранились в черта,
В бога и в царя.
Но им в ответ
Лишь улыбались дали
Да наша жидкая
Лимонная заря.

A black and white photograph of a small, single-story wooden house with a gabled roof and a small dormer. The house is surrounded by trees and a wooden picket fence in the foreground.

Года далекие,
Теперь вы как в тумане.
И помню, дед мне
С грустью говорил:
«Пустое дело...
Ну, а если тянет –
Пиши про рожь,
Но больше про кобыл».

1925



- 3 Путь к станции «Я». 7 кл. Кн. 1



Письмо матери

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне¹.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, —
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

1924



Сергей Есенин. 1918 г.



Мать поэта —
Татьяна Федоровна Есенина



Каким показалось тебе это стихотворение по настроению? Какие слова из текста это подтверждают?

2. Докажи, что грусть, пронизывающая стихотворение, все-таки светлая.
3. Покажи, что это лирическое стихотворение. Проследи, как в нем проявляется автобиографическое начало.
4. Какие образы рождают у поэта воспоминания о родительском доме? Что для него родительский дом?
5. Поэт назвал свое стихотворение «Письмо матери». Действительно ли это письмо? Что делает этот стихотворный текст художественным? Выдели наиболее яркие эпитеты?
6. Найди повторы в стихотворении. Попробуй объяснить, чем они вызваны.
7. Проследи по тексту, как сочетается в нем высокая и разговорная лексика. Попробуй объяснить, почему это происходит.

15 октября. Как часто люди мысленно возвращаются в свое детство, в родительский дом, в прошлое. Но далеко не все хотели бы вновь пройти свой путь взросления. Какие горькие строчки у Давида Самойлова:

«Я б вас позвал с собой в мой старый дом...
(Шарманщики, петрушка – что за чудо!)
Но как припомню долгий путь оттуда –
Не надо! Нет!... Уж лучше не пойдем!...»

Сколько же на пути оттуда разочарований и потерь?! С исчезновением обостренного чувства добра и зла, с пониманием неоднозначности этих понятий, с потерей желания сделать весь мир счастливым мы начинаем черстветь. С другой стороны, мы всю жизнь помним детские несчастья: несправедливость, обиды, первое унижение, потом отчаяние от бессилия. И есть два пути: озлобиться, ненавидеть весь свет, в каждом подозревать негодяя или, наоборот, ощутить сочувствие к людям, попытаться сделать так, чтобы с другими этого не повторилось.



ДАВАЙ ПОДУМАЕМ НАД ВОПРОСАМИ

1. Согласен ли ты с утверждением Алексея, что с годами человек черствеет, если в нем не остается совсем ничего от ребенка?
2. Что помогло тебе переживать детские обиды?
3. Когда ты будешь читать главы из повести М. Горького «Детство» и романа английской писательницы Шарлотты Бронте «Джен Эйр», подумай, есть ли что-то общее в детском мировосприятии их героев, живущих в разных странах.

Максим Горький (1868–1936)



М. Горький – писательский псевдоним Алексея Максимовича Пешкова, одного из выдающихся российских писателей, имеющих мировую известность.

Горький – человек удивительной судьбы, сильного, самобытного таланта. Вопреки жизненным обстоятельствам, он, благодаря трудолюбию и таланту, сумел стать не только знаменитым писателем, но и «властителем дум» своих современников. Он общался и дружил с великими людьми своего времени: писателями, художниками, учеными России и зарубежья. Среди них – А.П. Чехов, Л. Н. Толстой, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, Н.Д. Телешов, И.Е. Репин, Ф.И. Шаляпин. Его признание и авторитет в писательской среде были столь велики, что, когда в 1902 году за его политические взгляды, по распоряжению царя Николая II, Академия наук аннулировала избрание Горького почетным академиком, А.П. Чехов и В.Г. Короленко в знак протеста отказались от званий почетных академиков.

А.М. Пешков родился 16 марта 1868 года в Нижнем Новгороде.

Маленький Алеша рос в доме деда в тяжелой атмосфере вражды и ненависти родственников друг к другу. Сильное влияние на него оказала бабушка – Акулина Ивановна. Она приобщила внука к народным песням и сказкам, к стихам. Грамоте в 6 лет его обучил дед. В 1877 году Алексей Пешков стал учеником Нижегород-



Портреты В. Скотта
и О. Бальзака

Продавец лимонада. Начало XX в.

Титульные листы к книгам
Гоголя «Миргород» и
Пушкина «Евгений Онегин»

ского слободского училища, но проучиться смог всего два года: сдал экзамены в 3-й класс с похвальной грамотой, но по бедности больше учиться не пришлось. Дед разорился, и нужно было зарабатывать на жизнь.

— Алексей начал работать в 10 лет. Кем только ему не пришлось быть: ветошником (собирал старые тряпки, бумагу, кости), «мальчиком» в магазине обуви, учеником чертежника, посудомойщиком на пароходах, учеником в иконописной мастерской, статистом в театре... В 1881 году, работая на пароходе «Добрый», Алексей Пешков познакомился с пароходным поваром М.А. Смурым. Это была знаменательная для будущего писателя встреча: именно этот человек, отставной унтер-офицер, пробудил у Алексея любовь к книгам, ставшими для него основным источником самообразования. Юноша читает запоем все подряд, «все, что попадало под руку»: Гоголя, Некрасова, романы Дюма, В. Скотта, Бальзака. В 1882 году Алексей Пешков впервые прочитал Пушкина. «Все более раскрывая передо мною пределы мира, книги говорили мне о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучшему, как много сделал он на земле и каких невероятных страданий это стоило ему».¹

В 1884 году А. Пешков отправился в Казань, чтобы поступить в университет. Но вместо этого его «университетом» становится жизнь. Он живет в трущобах, в ночлежках с босяками, работает грузчиком, помощником пекаря, рабочим, батрачит в деревне. И все это время каждую свободную минуту — читает и еще посещает кружки самообразования. «Лет двадцати, — вспоминает Горький, — я начал понимать, что видел, пережил... много такого, о чем следует и даже необходимо рассказать людям. Мне казалось, что я знаю и чувствую кое-что не так, как другие...»



Лев Толстой и Максим Горький.



М. Горький. Горки. 1935 г.

¹ М. Горький. Полн. собр. соч., т. XVI, с. 420.



М. Горький

Детство (главы)

II

Дом Кашириных

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, — слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил — да и по сей день живет — простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому — за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда в кухню, во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко — петухом — закричал:

— По миру пущу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

— Отдай им все, отец, — спокойней тебе будет, отдай!

— Цыц, потатчица! — кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиною.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатались по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку; веселая, рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой

широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешистый, бородастый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем.

Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

— Братья, а! Родная кровь! Эх вы-и...

Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом:

— Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

— Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясаясь воя:

— Пресвятая Мати Божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

— Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

— Полно, Бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же — маленький против нее — ткнулся лицом в плечо ей.

— Надо, видно, делиться, мать...

— Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

— Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой — езуит, а Яшка — фармазон! И пропьют они добро мое, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед вспрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

— Кто тебя посадил на печь? Мать?

— Я сам.

— Врешь.

— Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

— Весь в отца! Пошел вон...

Я был рад убежать из кухни.





Ярмарка. Начало XX века

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

— Эх вы-и! — часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядя и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни, — в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками, глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаша измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а все-таки он казался одетым и чище и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях.

<...>

Однажды дед спросил:

— Ну, Олешка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Эта не велика мудрость желвак нажить! А «Отче наш» заучил?

Тетка тихонько сказала:

— У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

— А коли так — высечь надо!

И снова спросил меня:

— Тебя отец сек?

— Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала:

— Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.

— Это почему же?

— Говорил, битьем не выучишь.

— Дурак он был во всем. Максим этот, покойник прости господи! — сердито и четко проговорил дед.

Меня обидели его слова. Он заметил это.

— Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

— А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду.

— Как это пороть? — спросил я.

Все засмеялись, а дед сказал:

— погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть — значит расшивать платье, отданные в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, — это я видел. Но я никогда не видел, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядя щелкали своих то по лбу, то по затылку, — дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

— Больно?

И всегда они храбро отвечали:

— Нет, нисколько!

Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами, от чая до ужина, дядя и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снятия нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал:

— Чье дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка терла на терке сырой картофель.

— Это Сашка Яковов устроил! — вдруг сказал дядя Михаил.

— Врешь! — крикнул Яков, вскочив из-за печи.

А где-то в углу его сын плакал и кричал:

— Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядя начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу третий картофель и молча ушел, захватив с собой меня.



Все говорили – виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил – будут ли его сечь и пороть?

– Надо бы, – проворчал дед, искоса взглянув на меня.

Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

– Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

– Попробуй тронь...

И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умахались.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, – тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

– Моя мать – самая сильная!

Они не возражали.

Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери.

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей – «кубовой», полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым – «бордо». Просто, а – непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:

– Экой подхалим!

Худенький, темный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но, когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы; они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его, он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было мол-

чать – сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются-мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо черною сетью, исчезают куда-то, оставив за собою пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет.

– Белое всего легче красится, уж я знаю! – сказал он очень серьезно.

Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моей работой:

– Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая черной, лохматой головою, сказал мне:

– Ну и попадет же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

– Ах ты, пермяк, солены уши! Чтоб те приподняло да шлепнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

– Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось обойдется как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

– Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы!

– Я ему семишник дам, – сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всенощной, кто-то привел меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед чёрным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерял их, складывал один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

– Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

– Простите Христа ради...

Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

– Высеку – прощу, – сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. – Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика

на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки – ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопченным потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги.

Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток.

– Лексей, – позвал дед, – иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вот гляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутком по голому телу. Саша взвизгнул.

– Врешь, – сказал дед, – это не больно! А вот этак больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завывал.

– Не сладко? – спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. – Не любишь? Это за наперсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею; падала рука – и я весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

– Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я сказал...

Спокойно, точно псалтирь читая, дед говорил:

– Донос – не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:

– Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

– Варя, Варвара!..

Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и наконец бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

– Привязывай! Убью!..

Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:

– Папаша, не надо!.. Отдайте...

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиной на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу перед киотом со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, черная и большая, лезла на мать, за-талкивая ее в угол, к образам, и шипела:

— Ты что не отняла его, а?

— Испугалась я.

— Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я — старуха, да не боюсь! Стыдись!..

— Отстаньте, мамаша: тошно мне...

— Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

Мать сказала тяжело и громко:

— Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

— Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет...

— Кровь ты моя, сердце мое, — шептала бабушка.

Я запомнил: мать — не сильная; она как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою:

— Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку, к носу моему.

— Вот, видишь, я тебе гостинца принес!

Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой, жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих ногтях.



– Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, – в зачет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет – это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олёша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что поди-ка сам Господь Бог глядел – плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошел до своего места, – старшиной цеховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ошетилившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

– Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам, своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа – по воде, я – по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, – косточки скрипят, – идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, – эх-ма, Олёша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю – и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдохай, хоть издыхай! Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого Господа Иисуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, – в этом многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом пошел, – показал хозяину разум свой!..

Говорил он и – быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, – он один ведет против реки огромную серую баржу...



Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:

— Ну, зато, Олёша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под зеленой горой поразложим, бывалоче, костры — кашницу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель — аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрее пойдет, — так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

— Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

— Погодите там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспомнить, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую, шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампы.

— Ты глянь-ка, — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в красных рубцах, — вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много! Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу, заперет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя утащат бабаны али мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, — видишь насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

— Так жалко стало мне тебя, аж горло перехватило, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про дела, сразу близкий мне, детски простой. <...>

Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.



Я лежу на широкой кровати, вчетверо укутан тяжелым одеялом, и слушаю, как бабушка молится Богу, стоя на коленях, прижав одну руку ко груди, другою неторопливо и нечасто крестясь.

На дворе стреляет мороз; зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные — во льду — стекла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая темные глаза фосфорическим огнем. Шелковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно кованая; темное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу.

Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и пойдет к постели, а я притворюсь, что крепко уснул.

— Ведь врешь, поди, разбойник, не спишь? — тихонько говорит она. — Не спишь, мол, голуба-душа? Ну-ко, давай одеяло!

Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки; тогда она рычит:

— А-а, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял!

Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дергает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлепаюсь в мягкую перину, а она хохочет:

— Что, редькин сын? Съел комара?

Но иногда она молится очень долго, я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится.

Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк; слушать их очень интересно; бабушка подробно рассказывает Богу обо всем, что случилось в доме; грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит:

— Ты, Господи, сам знаешь, — всякому хочется, что получше. Михайло-то старшой, ему бы в городе-то надо остаться, за реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное; что будет — неведомо. А отец — он Якова больше любит. Али хорошо — неровно-то детей любить? Упрям старик — ты бы, Господи, вразумил его.

Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует Богу своему:

— Наведи-ко ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!

Крестится, кланяется в землю, стучаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

— Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомяни, Господи, Григорья, — глаза-то у него все хуже. Ослепнет — по миру пойдет, нехорошо! Всю свою

силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет!.. О, Господи, Господи...

Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замерзла.

— Что еще? — вслух вспоминает она, приморщив брови. — Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру окаянную, прости, — ты знаешь: не со зла грешу, а по глупому разуму.

И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворительно:

— Все ты, родимый, знаешь, все тебе, батюшка, ведомо.

Мне очень нравился бабушкин Бог, такой близкий ей, и я часто просил ее:

— Расскажи про Бога!

Она говорила о нем особенно: очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя; приподнимется, сядет, накинёт на простоволосую голову платок и заведёт надолго, пока не заснешь:

— Сидит Господь на холме, среди луга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом; нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам божьим. А около Господа ангелы летают во множестве, — как снег идет али пчелы роятся, — али бы белые голуби летают с неба на землю. Тут и твой, и мой, и дедушкин — каждому ангел дан, Господь ко всем равен. Вот твой ангел Господу приносит: «Лексей дедушке язык высунул!» А Господь и распорядился: «Ну, пускай старик посечет его!» И так все, про всех, и всем он воздаёт по делам — кому горем, кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь: «Слава тебе, Господи, слава тебе!» А он, милый, только улыбается им — дескать, ладно уж!

И сама она улыбается, покачивая головою.

— Ты это видела?

— Не видала, а знаю! — отвечает она задумчиво.

Говоря о Боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой, лицо ее молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжелые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоedавшие рассказы.

— Бога видеть человеку не надо — ослепнешь; только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видела я; они показываются, когда душа чиста. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы, видно сквозь них все, светлые, светлые, и крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола и отцу Илье помогают, старичку: он поднимет ветхие руки, Богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо все и поспоро-сти после того успел, скончался. Я тогда, как увидела их, — обмерла от радости, сердце заныло, слезы катятся, — ох, хорошо было!

Ой, Лёнька, голуба-душа, хорошо все у Бога и на небе и на земле, так хорошо...

– А у нас хорошо разве?

Осенив себя крестом, бабушка ответила:

– Слава Пресвятой Богородице, – все хорошо!

Это меня смущало: трудно было признать, что в доме все хорошо; мне казалось, в нем живет хуже и хуже.

Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки ко груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно:

– Господи, приberi меня, уведи меня...

Молитва ее была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал:

– Ослепну, по миру пойду, и то лучше будет...

Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее, – я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы по миру вместе. Я уже говорил ему об этом; мастер, усмехаясь в бороду, ответил:

– Вот и ладно, и пойдем! А я буду оглашать в городе: это вот Василья Каширина, цехового старшины, внук, от дочери! Занятно будет...

Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли, на желтом лице ее – вспухшие губы. Я спрашивал бабушку:

– Дядя бьет ее?

Вздыхая, она отвечала:

– Бьет тихонько, анафема проклятый! Дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Злой он, а она – кисель...

И рассказывает, воодушевляясь:

– Все-таки теперь уж не бьют так, как бивали! Ну, в зубы ударит, в ухо, за косы минуту потреплет, а ведь раньше-то часами истязали! Меня дедушка снова¹ бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьет – устанет, а отдохнув – опять. И вожжами и всяко.

– За что?

– Не помню уж. А вдругорядь он меня избил до полусмерти да пятеро суток есть не давал, – еле выжила тогда. А то еще...

Это удивляло меня до онемения: бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть ее.

– Разве он сильнее тебя?

– Не сильнее, а старше! Кроме того – муж! За меня с него Бог спросит, а мне заказано терпеть. <...>

Она нередко видала чертей, во множестве и в одиночку.

– Иду как-то Великим постом, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молочная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит черный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», – говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул

кувырком с крыши-то во двор, — расточился! Должно, скромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь...

Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеется, говоря:

— Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи; вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал мала меньше, красненькие, зеленые, черные, как тараканы. Я — к двери — нет ходу; увязла среди бесов, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дергают, сжали так, что и окститься¹ не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все; кружатся, озоруют, зубенки мышинные скалят, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики пороссячи — ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь! А как воротилась в себя — свеча еле горит, корыто простыло, стираное на пол брошено. Ах вы, думаю, раздуй вас горой!

Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки, с ее серых булыжников густым потоком льются мохнатые, пестрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниково-розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. <...>

Не верить бабушке нельзя — она говорит так просто, убедительно.

Но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как Богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу «князь-барыню» Енгалычеву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея, божия человека, про Ивана-воина; сказки о премудрой Василисе, о Попе-Козле и божьем крестнике; страшные были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, атамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери разбойника; сказок, былей и стихов она знала бесчисленно много. <...>

Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с Богом, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал:

— Ну, мать, посетил нас господь, — горим!

— Да что ты! — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжело топая, бросились в темноту большой парадной комнаты.

— Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! — строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:

— И-и-ы...

Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало точно золотое; по полу текли-скользили желтые пятна; босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:

— Это Мишка поджег, поджег да ушел, ага!

— Цыц, пес, — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.

Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек

¹ Окститься — осенить крестом.

дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золотые, красные ленты; среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск, шелковый шелест бился в стекла окна; огонь все разрастался; мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.

Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрою огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, обернувшись попойой, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:

– Купорос, дураки! Взорвет купорос...

– Григорий, держи ее! – выл дедушка. – Ой, пропала...

Но бабушка уже вынырнула вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутылку купоросного масла.

– Отец, лошадь выведи! – хрипя, кашляя, кричала она. – Снимите с плеч-то, – горю, али не видно?..

Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попоу и, переламываясь пополам, стал метать лопатой в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках; дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом; она сунула бутылку в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:

– Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, – наше все дотла сгорит и ваше займется! Рубите крышу, сено – в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь!



Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружной, — Бог вам на помощь.

Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнем, который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя.

На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, уперлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:

— Мать, держи!

Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя.

— А ты не бойся! — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. — Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох ты, мышонок...

Мышонок, втрое больший ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо.

Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала:

— Василий Васильич, Лексея нет...

— Пошла, пошла! — ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.

Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей; внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз.
<...>

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.

— Это кто! Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, все уж кончилось...

Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.

Дед вошел, остановился у порога и спросил:

— Мать?

— Ой?

— Обожглась?

— Ничего.

Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и не торопясь сел рядом с бабушкой.

— Умылся бы, — сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом.

Дед вздохнул:

— Милостив Господь бывает до тебя, большой тебе разум дает...

И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы:

– На краткое время, на час, а дает!..

Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.

– Григория рассчитать надо – это его недосмотр! Отработал мужик, отжил! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак... Пошла бы ты к нему...

Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:

– Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх вы-и...

Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил:

– Боялся ты?

– Нет.

– И нечего бояться...

Сердито сдернув с плеч рубаху, он пошел в угол, к рукомойнику, и там, в темноте, топнув ногою, громко сказал:

– Пожар – глупость! За пожар кнутом на площади надо бить погорельца; он – дурак, а то – вор! Вот как надо делать, и не будет пожаров!.. Ступай спи. Чего сидишь? <...>

Дверь очень медленно открылась, в комнату вползла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиной и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампы, тихо, по-детски жалобно, сказала:

– Рученьки мои, рученьки больно...



1. На какой исторический период развития России приходится детство М. Горького? Что тебе известно о 70–80-х гг. XIX в.?

2. Какой была атмосфера в доме деда? Почему она так отличается от атмосферы дома, описанной у Герцена и Толстого? Как ты думаешь, чем можно объяснить жестокость в отношениях людей, которую Алексей наблюдал в детстве?

3. Кто оказал влияние на развитие личности, становление характера Алеши?

4. Охарактеризуй деда и бабушку Алексея. В чем неоднозначность их характеров? Как раскрываются характеры деда и бабушки в их рассказах? портретах?

5. Почему после жестокого наказания у Алексея «явилось беспокойное внимание к людям», «...точно мне содрали кожу сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой»?

6. Что еще произошло с Алексеем после того, как его высек дед? Есть ли такие же по значимости сцены в «Былом и думах» Герцена, в «Детстве» Л. Толстого?

7. Какие сцены в повести говорят о том, что Алеша встречался в детстве не только с жестокостью, но и с добротой?

8. Первое название повести М. Горького – «Бабушка». Почему писатель изменил название?

(ТР) 9. Напиши сочинение-миниатюру «Самый близкий мне человек».

Шарлотта Брoнте (1816–1855)

Информация
для тебя

Шарлотта Бронте родилась в 1816 году в семье сельского священника в Хауорде, расположенном в Йоркшире, одном из главных промышленных районов Англии. Мать умерла рано, и шестеро детей остались на попечении отца. Это был суровый, но честный и по-своему талантливый человек, который сумел внушить своим детям понятие о справедливости и порядочности. Шарлотта, ее брат и сестры учились у отца и тетки, друг у друга и в детстве создали у себя в семье особый мир, поэтичный, фантастический, тем более что к этому располагало окружение: дом отца стоял на краю Хауорда, за ним тянулись поросшие вереском болота и пустоши. Дети жили на стыке легендарного английского севера и нищих промышленных районов.



Когда Шарлотте было восемь лет, ее и трех сестер отдали в сиротский приют для детей духовенства. Эти впечатления детства отразились в романе «Джен Эйр» в описании сиротского дома.

В 21 год Шарлотта Бронте сделала попытку напечататься, но потерпела неудачу: в ответном письме поэт Роберт Саути посоветовал Бронте заниматься хозяйственными делами. Нужно было зарабатывать на жизнь, и Шарлотта служит гувернанткой в семье йоркширского фабриканта, затем учительницей английского языка в пансионе в Брюсселе, но мыслей о литературной деятельности она не оставляет.

В 1847 году роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр» все же увидел свет и имел большой успех у читателей. Секрет успеха этой книги был, очевидно, в том, что в ней переплелись правда о собственной жизни писательницы и вымысел, а образ главной героини был проникнут удивительной добротой и гуманизмом, верой в человеческое достоинство и нравственные идеалы.





Ш.Бронте

Джен Эйр

(главы)

Глава VII

Первые три месяца в Ловуде¹ показались мне веком, и отнюдь не золотым. Я с трудом привыкала к новым правилам и обязанностям. Страх, что я не справлюсь, мучил меня больше, чем выпавшие на мою долю физи-

ческие лишения, хотя переносить их было тоже нелегко.

В течение января, февраля и части марта — сначала из-за глубоких снегов, а затем, после их таяния, из-за весенней распутицы — наши прогулки ограничивались садом; исключением являлось лишь путешествие в церковь, но в саду мы должны были проводить ежедневно час, чтобы дышать свежим воздухом. Убогая одежда не могла защитить нас от резкого холода; у нас не было подходящей обуви, снег набивался в башмаки и таял там; руки без перчаток вечно зябли и покрывались цыпками. Я помню, как нестерпимо зудели по вечерам мои опухшие ноги, и те муки, которые я испытывала утром, всовывая их, израненные и онемевшие, в башмаки. Доводила нас до отчаяния и крайняя скудость пищи; у нас был здоровый аппетит растущих детей, а получали мы едва ли достаточно, чтобы поддержать жизнь больного, дышащего на ладан. Особенно страдали от недостатка пищи младшие воспитанницы. Взрослые девушки, изголодавшись, пользовались каждым случаем, чтобы лаской или угрозой выманить у младших их порцию. Сколько раз приходилось мне делить между двумя претендентками драгоценный кусочек серого хлеба, который мы получали в пять часов! Отдав третьей претендентке по крайней мере половину моего кофе, я проглатывала остаток вместе с тайными слезами, вызванными мучительным голодом.

В эти зимние месяцы особенно унылы бывали воскресенья. Нам приходилось плестись за две мили в брокльбриджскую церковь, где служил наш патрон. Выходили мы уже озябшие, а до места добирались совершенно окоченевшие: во время утренней службы руки и ноги у нас немели от стужи. Возвращаться домой обедать было слишком далеко, и мы получали между двумя службами такую же крошечную порцию мяса и хлеба, какая нам полагалась за обедом.

По окончании вечерней службы мы возвращались домой открытой холмистой дорогой; резкий ветер дул с севера, с заснеженных холмов, и буквально обжигал нам лицо.

Я вспоминаю, как мисс Темпл быстро и легко шагала вдоль нашей унылой вереницы, плотно завернувшись в свой шотланд-

¹ Ловуд, Ловудский приют — закрытая школа для девочек («убежище для бедных сирот»).

ский плащ, полы которого трепал ветер, и ободряла нас словом и примером, призывая идти вперед, подобно «храбрым солдатам». Другие учительницы, бедняжки, были обычно слишком угнетены, чтобы поддерживать нас.

Как мечтали мы, возвращаясь, о свете и тепле яркого камина! Но малышам и в этом было отказано: перед обоими каминами немедленно выстраивался двойной ряд взрослых девушек, а позади них, присев на корточки, жались друг к другу малыши, пряча иззябшие руки под передники.

Небольшим утешением являлся чай, во время которого полагалась двойная порция хлеба – то есть целый ломоть вместо половины – и, кроме того, восхитительная добавка в виде тончайшего слоя масла. Мы мечтали об этом удовольствии от воскресенья до воскресенья. Обычно мне удавалось сохранить для себя лишь половину этого роскошного угощения, остальное я неизменно должна была отдавать.

В воскресенье вечером мы обычно читали наизусть отрывки из катехизиса, а также V, VI и VII главы от Матфея и слушали длинную проповедь, которую нам читала мисс Миллер; она судорожно зевала, не скрывая утомления. Сон настолько овладевал младшими девочками, что они валились со своих скамеек и их поднимали полумертвыми от усталости. Помогало одно: бедняжек выталкивали на середину комнаты и заставляли стоя дослушать проповедь до конца. Иногда ноги у них подкашивались и они, обессиленные, опускались на пол; тогда старшие девочки подпирали их высокими стульями.

Я еще ни разу не упомянула о посещениях мистера Брокльхерста. Надо сказать, что этот джентльмен отсутствовал почти весь первый месяц моего пребывания в Ловуде; может быть, он продолжал гостить у своего друга викария. Во всяком случае, в его отсутствие я была спокойна. Мне незачем говорить о том, почему я так боялась его. Но в конце концов он явился.

Однажды, после обеда (я находилась в Ловуде уже свыше трех недель), я сидела, держа в руках аспидную доску¹, и размышляла над трудным примером на деление, как вдруг, рассеянно подняв глаза, я увидела, что мимо окна прошла какая-то фигура. Я почти инстинктивно узнала этот тощий силуэт; и когда две минуты спустя вся школа, включая и преподавательниц, поднялась *en masse*² мне незачем было искать глазами того, кого так приветствовали. Кто-то большими шагами прошел через классную комнату, и после мисс Темпл – она тоже поднялась – вырос тот самый черный столб, который так грозно взирал на меня, стоя на предкаминном коврике в Гейтсхэде. Я пугливо покосилась на него. Да, я не ошиблась: это был мистер Брокльхерст, в застегнутом на все пуговицы пальто, еще больше подчеркивавшем его рост и худобу.

¹ Аспидная доска – доска из слоистого минерала черного цвета, на которой пишут грифелем.

² Как один человек (фр.).

У меня были свои причины опасаться его приезда: я слишком хорошо помнила ехидные намеки, которые ему делала миссис Рид по поводу моего характера, а также обещание мистера Брокльхерста поставить мисс Темпл и других учительниц в известность относительно порочности моей натуры. Все это время я с ужасом вспоминала его угрозу и каждый день с трепетом ждала этого человека, сообщение которого о моей прошлой жизни должно было навеки заклеить меня как дурную девочку. И вот теперь он был здесь.

Он стоял возле мисс Темпл и что-то тихонько говорил ей на ухо. Я несколько не сомневалась, что он рассказывает ей, какая я испорченная, и с мукой следила за ее взглядом, ожидая каждую минуту, что ее черные глаза обратятся на меня с отвращением и гневом. Я старалась вслушаться в его шепот, и так как сидела тут же неподалеку, то мне удалось разобрать большую часть того, что он говорил. То, что я услышала, на несколько мгновений вернуло мне спокойствие.

— Я полагаю, мисс Темпл, что нитки, которые я закупил в Лоутоне, можно пустить в дело, они пригодятся для коленкорových рубашек, и я подобрал к ним иголки. Пожалуйста, не забудьте сказать мисс Смит, что я не записал штопальные иголки, но ей на той неделе пришлют несколько пачек; и, пожалуйста, чтобы она ни в каком случае не выдавала каждой ученице больше чем по одной: если давать им по несколько, они будут небрежничать и растеряют все. И потом, сударыня, я хотел бы, чтобы с шерстяными чулками обращались поаккуратнее. Когда я здесь был в последний раз, я пошел на огород и осмотрел белье, висевшее на веревках; там было много очень худо заштопанных чулок: дыры на них доказывают, что они чинятся редко и небрежно.

Он замолчал.

— Ваши указания будут исполнены, сэр, — ответила мисс Темпл.

— И потом, сударыня, — продолжал он, — прачка доложила мне, что вы разрешили некоторым воспитанницам переменить за неделю два раза рюшки на воротниках. Это слишком часто, — согласно правилам, они могут менять их только однажды.

— Случай был вполне законный, сэр. Агнес и Катарина Джонстон в тот четверг получили приглашение на чашку чая к своим друзьям в Лоутон, и когда они уходили, я разрешила им переменить рюшки.

Мистер Брокльхерст кивнул.

— Ну, один раз — куда ни шло! Но, пожалуйста, чтобы это не повторялось слишком часто. И потом есть еще одно обстоятельство, крайне меня удивившее: принимая отчет от экономки, я обнаружил, что за две недели воспитанницам был дважды выдан второй завтрак, состоявший из хлеба и сыра. Как это могло произойти? Я еще раз пересмотрел устав и нашел, что там нет никакого упоминания о втором завтраке. Кто ввел это новшество, кто его разрешил?

— Это я распорядилась, сэр, — отозвалась мисс Темплъ, — завтрак был так дурно приготовлен, что воспитанницы не могли его есть, а я не рискнула оставить их голодными до обеда.

— Разрешите мне, сударыня, заметить вам следующее: вы понимаете, что моя цель при воспитании этих девушек состоит в том, чтоб привить им выносливость, терпение и способность к самоотречению. Если их и постигло маленькое разочарование в виде испорченного завтрака — какого-нибудь пересоленного или недосоленного блюда, то это испытание отнюдь не следовало смягчать, предлагая им взамен более вкусное кушанье; поступая так, вы просто тешите их плоть, а значит — извращаете в корне основную цель данного благотворительного заведения; наоборот, всякий такой случай дает нам лишний повод для того, чтобы укрепить дух воспитанниц, научить их мужественно переносить земные лишения. Очень уместна была бы небольшая речь; опытный воспитатель воспользовался бы таким поводом для того, чтобы упомянуть о страданиях первых христиан, о пытках, которые переносили мученики, и, наконец, о призыве Господа нашего Иисуса Христа, предложившего своим ученикам взять свой крест и идти за ним; о его наставлениях, что не единым хлебом жив человек, но каждым словом, исходящим из уст божьих; о его божественном утешении: «Если вы жаждете или страждете во имя мое, благо вам будет». О сударыня, вложив хлеб и сыр вместо пригоревшей овсянки в уста этих детей, вы, может быть, и накормили их брэнную плоть, но не подумали о том, какому голоду вы подвергли их бессмертные души!



Мистер Брокльхерст снова сделал паузу, видимо взволнованный собственным красноречием. Когда он заговорил, мисс Темплъ опустила взор; теперь же она смотрела прямо перед собой, и ее лицо, и обычно-то бледное, постепенно становилось таким же холодным и неподвижным, как мрамор, и рот ее был сжат так, что, казалось, только резец скульптора может открыть его.

Тем временем мистер Брокльхерст, стоя возле камина с заложенными за спину руками, величественно рассматривал воспитанниц. Вдруг он заморгал, как будто ему что-то попало в глаз, и, обернувшись, сказал торопливее, чем говорил до сих пор:

— Мисс Темплъ, мисс Темплъ, что это за девочка с кудрявыми волосами? Рыжие волосы, сударыня, и кудрявые, вся голова кудрявая! — И, подняв трость, он указал на ужаснувшую его воспитанницу, причем его рука дрожала.

— Это Джулия Сёверн, — отозвалась мисс Темплъ очень спокойно.

— Джулия Северн или кто другой, сударыня, но по какому праву она разрешает себе ходить растрепой? Как смеет она так дерз-

ко нарушать все правила и предписания этого дома, этого благочестивого заведения? Да у нее на голове целая шапка кудрей!

— Волосы у Джулии выются от природы, — ответила мисс Темпл еще спокойнее.

— От природы! Но мы не можем подчиняться природе, — я хочу, чтобы эти девочки стали детьми Милосердия; и потом, зачем такие космы? Я повторял без конца мое требование, чтобы волосы были зачесаны скромно и гладко. Мисс Темпл, эту девушку надо остричь наголо. Завтра же у вас будет парикмахер! Я вижу, что и у других девушек волосы длиннее, чем полагается, — вон у той высокой; скажите ей, пусть повернется затылком. Пусть весь первый класс встанет и обернется лицом к стене.

Мисс Темпл провела носовым платком по губам, словно стирая невольную улыбку. Однако она отдала приказание, и девушки, наконец поняв, что от них требуется, выполнили его. Я слегка откинулась назад, и мне были видны с моей парты взгляды и гримасы, которыми они сопровождали этот маневр. Жаль, что мистер Брокльхерст не видел их: возможно, он тогда понял бы, что, сколько бы он ни трудился над внешней оболочкой, внутренний мир девочек был от него бесконечно далек.

В течение пяти минут рассматривал он обратную сторону этих живых медалей, затем изрек, — и слова его прозвучали как смертный приговор:

— А космы следует остричь!

Мисс Темпл, видимо, что-то ему возразила.

— Сударыня, — продолжал он, — я служу владыке, царство которого не от мира сего. И моя миссия — умерщвлять в этих девушках вожделение плоти, научить их сохранять стыдливость и скромность, а не умащать свои волосы и рядиться в пышные одежды; каждая из этих молодых особ носит косы, и их, конечно, заплело тщеславие; всех их, повторяю я, нужно остричь... Вы только подумайте о том, сколько времени они теряют...

Здесь мистера Брокльхерста прервали: в комнату вошли гости; это были три дамы. Им следовало бы прийти несколько раньше и выслушать его проповедь об одежде, ибо они были пышно разряжены в бархат, шелк и меха. На двух молоденьких (красивые девушки лет шестнадцати-семнадцати) были входившие тогда в моду кастровые шляпки, украшенные страусовыми перьями, а из-под этих изящных головных уборов ниспадали на шею густые пряди тщательно завитых волос; пожилая дама куталась в дорогую бархатную шаль, обшитую горностаем, а на лбу у нее красовались фальшивые локоны.

Это были барышни Брокльхерст с матерью; мисс Темпл встретила их и проводила на почетные места. Они, видимо, приехали вместе с достоуважаемым мистером Брокльхерстом и производили в верхних комнатах самый тщательный обыск, пока он беседовал о делах с экономкой, выпрашивал прачку и поучал директрису. Теперь они обрушились со всевозможными упреками и замечаниями на мисс Смит, которой было поручено наблюдение

за бельем и надзор за спальнями. Но у меня не было времени вслушиваться в то, что они говорят, — другое отвлекло и приковало мое внимание.

Прислушиваясь к речам мистера Брокльхерста и мисс Темпл, я не забыла принять меры для собственной безопасности. Решив, что самое лучшее оставаться незамеченной, я притворилась чрезвычайно углубленной в свою задачу и держала доску так, чтобы заслонить ею лицо. Может быть, меня и не заметили бы, но моя доска вдруг выскользнула у меня из рук и упала на пол, — раздался ужасный, предательский треск. Все взоры обратились ко мне; теперь я знала, что все погибло, и, наклонившись, чтобы подобрать осколки доски, приготовилась к худшему. Оно не замедлило разразиться.

— Какая неосторожная девочка! — сказал мистер Брокльхерст и сейчас же добавил: — Кстати — это новая воспитанница. — Я не успела перевести дыхание, как он уже продолжал: — Я должен сказать по поводу нее несколько слов. — Затем, возвысив голос, — каким громким он показался мне! — заявил: — Пусть девочка, разбившая доску, выйдет вперед.

Своими силами я бы не могла подняться, все мои члены точно онемели; но две взрослые девушки, сидевшие по бокам, поставили меня на ноги и подтолкнули навстречу грозному судье, а мисс Темпл ласково подвела меня к нему и одобряюще шепнула:

— Не бойся, Джен, я видела, что ты не нарочно; ты не будешь наказана.

Но этот ласковый шепот вонзился в мое сердце, как кинжал.

«Еще минута, и она будет считать меня низкой лицемеркой», — подумала я; и мое сердце забилося от приступа страшного гнева против таких людей, как господи Риды, Брокльхерсты и компания: я ведь не Элен Бернс.

— Принесите вон тот стул, — сказал мистер Брокльхерст, указывая на очень высокий стул, с которого только что встала одна из старших девушек; стул был принесен. — Поставьте на него эту девочку.

Кто-то поставил меня на стул. Кто, не помню: я ничего не признавала; я только видела, что стою на одном уровне с носом мистера Брокльхерста и что этот нос в двух шагах от меня, а подо мною волнуются оранжевые и лиловые шелка и целое облако серебряных перьев.



Мистер Брокльхерст пристально посмотрел на меня и откашлялся.

— Сударыни, — сказал он, обращаясь к своему семейству, — мисс Темпл, наставницы и дети! Вы видите эту девочку?

Конечно, они видели; я чувствовала, что все глаза устремлены на меня, и они, точно зажигательные стекла, обжигают мою кожу.

— Смотрите, она еще молода и кажется обычным ребенком. Бог, по своему милосердию, дал ей ту же оболочку, какую он дал всем нам; она не отмечена никаким уродством. Кто мог бы предположить, что отец зла уже нашел в ней слугу и помощника? Однако, к моему прискорбию, я должен сказать, что это так.

Наступила пауза, во время которой я почувствовала, что мне уже удастся сдержать дрожь, сотрясавшую все мои члены: ведь так или иначе суда не избежать, а испытание нужно вынести с твердостью.

— Дорогие дети! — продолжал с пафосом проповедник. — Это печальный, это горестный случай! Но мой долг предупредить вас, ибо девочка, которая могла бы быть одной из смиренных овец Господних, на самом деле — отверженная, это не член верного стада, она втерлась в него. Она — враг. Берегитесь ее, остерегайтесь следовать ее примеру; если нужно — избегайте ее общества, исключите ее из ваших игр, держитесь от нее подальше. А вы, наставницы, следите за ней: наблюдайте за каждым ее движением, взвешивайте каждое слово, расследуйте каждый поступок, наказывайте плоть, чтобы спасти душу, — если только спасение возможно, ибо это дитя (мой язык едва мне повинуется), этот ребенок, родившийся в христианской стране, хуже любой маленькой язычницы, которая молится Бrame и стоит на коленях перед Джаганатом... Эта девочка — лгунья!

Затем последовала десятиминутная пауза, в течение которой я, уже овладев собой, наблюдала, как вся женская половина семьи Брокльхерстов извлекла из карманов носовые платки и прижала их к глазам, причем мамаша качала головой, а обе барышни шептали: «Какой ужас!»

Мистер Брокльхерст продолжал:

— Все это я узнал от ее благодетельницы, той благочестивой и милосердной дамы, которая удочерила ее, сироту, воспитала, как собственную дочь, и за чью доброту и великодушие этот злосчастный ребенок отплатил такой черной, такой жестокой неблагодарностью, что в конце концов ее добрейшая покровительница была вынуждена разлучить ее с собственными детьми, чтобы эта девочка своим порочным примером не осквернила их чистоту; она прислана сюда для исцеления, как в старину евреи посылали своих больных к озеру Вифезда. И вы, наставницы и



директриса, прошу вас, — не давайте водам застаиваться и загнивать вокруг нее.

После этого риторического заключения мистер Брокльхерст застегнул верхние пуговицы пальто и пробормотал что-то, обращаясь к своему семейству; дамы встали, поклонились мисс Темпл, и вот знатные гости выплыли из комнаты. Дойдя до двери и обернувшись, мой обличитель сказал:

— Пусть она еще полчаса стоит на стуле. И пусть с ней сегодня никто не разговаривает.

И вот я стояла на этом возвышении; еще несколько минут назад мне казалось постыдным стоять посреди комнаты, а теперь я была как бы пригвождена к позорному столбу. Мои чувства трудно описать; но когда они нахлынули на меня, подступая к горлу и прерывая мое дыхание, одна из девочек встала и прошла мимо меня; на ходу она подняла на меня глаза. Какой странный свет был в них! Как пронизывал их лучистый взгляд! Сколько новых, высоких чувств пробудилось во мне! Как будто мученик или герой, пройдя мимо рабы или обреченной жертвы, передал ей часть своей силы. Я подавила подступившие рыдания, подняла голову и решительно выпрямилась. Элен Бернс, подойдя к мисс Смит, задала ей какой-то нелепый вопрос относительно своей работы, выслушала замечание по поводу неуместности этого вопроса и тут же вернулась на место; но, снова проходя мимо меня, она мне улыбнулась. Какая это была улыбка! Теперь-то я понимаю, что в этой улыбке отразился ее незаурядный ум и высокое мужество; улыбка преобразила ее резкие черты — худенькое личико, запавшие серые глаза, и на них лег отблеск какой-то ангельской доброты, хотя в это самое время на руке Элен Бернс красовалась «повязка неряхи» и всего лишь час тому назад я слышала, как мисс Скэтчерд отчитывала ее, обещая посадить на хлеб и воду за то, что Элен, переписывая упражнение, закапала его чернилами. Таково несовершенство человеческой природы! Ведь и на солнце есть пятна, но глаза людей, подобных мисс Скэтчерд, способны видеть только мелкие изъяны и слепы к яркому блеску небесных светил.

Глава VIII

Полчаса еще не успели истечь, как часы пробили пять; воспитанницы были отпущены и пошли в столовую пить чай. Тогда я осмелилась слезть со стула. В комнате царил глубокий сумрак. Я забилась в уголок и села на пол. Та волшебная сила, которая до сих пор поддерживала меня, стала иссякать, наступила реакция, и охватившая меня скорбь была так непреодолима, что я упала ниц и зарыдала. Элен Бернс уже не было подле меня, ничто меня не поддерживало; предоставленная самой себе, я дала волю слезам, и они оросили доски пола, на которых я лежала. Я так старалась быть послушной, я хотела так много сделать в Ловуде: найти друзей, заслужить уважение и любовь! И я уже достигла из-

вестных успехов: как раз в это утро я была переведена в число первых учениц; мисс Миллер похвалила меня; мисс Темпл одобрила улыбку, она обещала заняться со мной рисованием и дать мне возможность изучать французский язык, если я в течение двух ближайших месяцев буду делать такие же успехи. Мои соученицы относились ко мне благожелательно, сверстницы обращались, как с равной, и никто не оскорблял меня. И вот я лежала здесь, растоптанная и опозоренная! Удастся ли мне когда-нибудь подняться?

«Никогда!» — решила я и страстно пожелала себе смерти. В то время как я, рыдая, бормотала это пожелание, кто-то приблизился ко мне. Я подняла голову, — снова возле меня была Элен Бернс, в этой длинной, пустой комнате угасающий свет камина смутно озарил ее фигурку. Она принесла мне кофе и хлеба.

— Ну-ка, поешь немного, — сказала она.

Но я отодвинула от себя и хлеб и кофе: мне казалось, что я подавлюсь первым же глотком и первой крошкой хлеба. Элен, вероятно, смотрела на меня с удивлением; я никак не могла овладеть собой, сколько ни старалась, и продолжала громко рыдать. Тогда она села рядом со мной на пол, охватила колени руками и положила на них голову. В таком положении она просидела долго, безмолвная, как изваяние. Я первая заговорила:

— Элен, Элен, как ты можешь сидеть с девочкой, которую все считают лгуньей?

— Неправда, Джен! Только восемьдесят человек слышали, что тебя так называли. А в мире сотни миллионов людей.

— Но какое мне дело до миллионов? Те восемьдесят, которых я знаю, презирают меня.

— Джен, ты, право же, ошибаешься: наверно, никто в нашей школе не презирает и не ненавидит тебя; наоборот, я уверена, что многие тебя очень жалеют.

— Как они могут жалеть меня после того, что сказал мистер Брокльхерст?

— Мистер Брокльхерст не Бог; он даже не почтенный, всеми уважаемый человек. Здесь его не любят, да он ничего и не сделал, чтобы заслужить любовь. Вот если бы он обращался с тобой, как со своей любимицей, тогда у тебя нашлось бы много врагов, и явных и тайных; но ведь это не так, и большинство девочек, наверно, охотно посочувствовали бы тебе, если бы только смели. Может быть, учительницы и старшие день-два будут к тебе холоднее, но в душе они расположены к тебе; старайся по-прежнему хорошо вести себя, и эти чувства проявятся тем сильнее, чем больше они были скрыты. Кроме того, Джен... — Она остановилась.

— Ну что, Элен? — сказала я, взяв ее за руку.

Она нежно стала растирать мои пальцы, чтобы согреть их, и продолжала:

— Если весь мир будет ненавидеть тебя и считать тебя дурной, но ты чиста перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей.

— Да, Элен! Я понимаю, главное — знать, что я не виновата; но этого недостаточно: если никто не будет любить меня, лучше мне умереть. Я не вынесу одиночества и ненависти, Элен. Чтобы заслужить любовь твою, или мисс Темплъ, или еще кого-нибудь, кого я действительно люблю, я согласилась бы, чтобы мне сломали руку или бык забодал меня. Я охотно бы стала позади брыкающейся лошади, чтобы она ударила меня копытом в грудь...

— Успокойся, Джен! Ты слишком заботишься о любви окружающих. Ты слишком горячо все принимаешь к сердцу. Творец, создавший твое тело и вдохнувший в него жизнь, дал тебе более твердую опору, чем твое слабое «я» или чем подобные тебе слабые создания. Кроме нашей земли, кроме человеческого рода, существует незримый мир, царство духов. Этот мир окружает нас, он повсюду; и духи оберегают нас, их дело — стоять на страже; и хотя бы мы умирали от стыда и горя, хотя бы нас окружало презрение и ненависть угнетала бы нас, — ангелы видят наши мучения, они скажут, что мы не виноваты (если это действительно так; а я знаю, что ты невиновна и что низкое обвинение мистера Брокльхерста исходит от миссис Рид; я сразу же увидела по твоим горящим глазам, по твоему чистому лбу, что у тебя правдивая душа). А Бог только ждет, когда наш дух отделится от плоти, чтобы увенчать нас всей полнотою награды. Зачем же поддаваться отчаянию, если жизнь недолга, а смерть — верный путь к счастью и свету?

Я молчала. Элен успокоила меня, но в этом покое была какая-то неизъяснимая печаль. Я чувствовала веяние скорби в ее словах, но не могла понять, откуда эта скорбь. А когда она замолчала, ее дыхание стало учащенным и она закашлялась коротким, сухим кашлем, я мгновенно забыла о собственном горе, охваченная смутной тревогой за нее.

Положив голову на плечо Элен, я обняла ее; она привлекла меня к себе, и мы сидели молча. Но это продолжалось недолго, ибо в комнате появился кто-то третий. Ветер прогнал тяжелые тучи, и ярко засияла полная луна; ее луч, упав в одно из окон, осветил и нас, и приближавшуюся к нам фигуру, в которой мы узнали мисс Темплъ.

— Я иду тебя, Джен Эйр, — сказала она, — я хочу, чтобы ты зашла ко мне в комнату; а раз здесь Элен Бернс, пусть зайдет и она.

Мы встали и, следуя за нашей наставницей, прошли по лабиринту коридоров и поднялись по лестнице.

В ее комнате ярко горел камин и было очень уютно. Мисс Темплъ предложила Элен Бернс сесть в низенькое кресло у камина, а сама села в другое кресло и привлекла меня к себе.

— Ну что, все прошло? — спросила она, вглядываясь в мое лицо. — Ты утешилась наконец?

— Воюсь, что я никогда не утешусь.

— Отчего же?

— Оттого, что меня несправедливо обвинили; и вы, мисс Темплъ, и все другие будут теперь считать, что я дурная.

— Мы будем считать тебя такой, какой ты себя покажешь, дитя мое. Продолжай вести себя хорошо, и мы будем довольны тобой.

— Правда, мисс Темплъ?

— Ну конечно, — сказала она, обняв меня одной рукой. — А теперь расскажи мне, кто эта дама, которую мистер Брокльхерст назвал твоей благодетельницей?

— Это миссис Рид, жена моего дяди. Мой дядя умер и оставил меня на ее попечение.

— Значит, она удочерила тебя не по собственному желанию?

— Нет, мисс Темплъ, она очень этого не хотела, но я часто слышала от слуг, будто дядя перед смертью взял с нее обещание, что она всегда будет заботиться обо мне.

— Ну, так вот, Джен. Ты знаешь, или во всяком случае должна знать, что, когда на суде в чем-нибудь обвиняют человека, ему дают право защищаться. Расскажи правдиво все, что ты помнишь; но ничего не прибавляй и не преувеличивай.

Я твердо решила, что буду как можно сдержанней, как можно справедливее, и, помолчав несколько минут, чтобы обдумать свои слова, рассказала ей печальную повесть моего детства. Обессиленная предшествующими волнениями, я была в своем рассказе гораздо сдержаннее, чем обычно, когда касалась этой печальной темы, и, крепко памятуя предостережения Элен не поддаваться безудержной мстительности, вложила в свой рассказ гораздо меньше запальчивости и раздражения, чем обычно. Будучи, таким образом, более сдержанным и простым, рассказ мой произвел более сильное впечатление: я чувствовала, что мисс Темплъ верит мне до конца.

Во время своего рассказа я упомянула имя мистера Ллойда, посетившего меня после припадка; я, кажется, до самой смерти не могла бы забыть ужасный случай в красной комнате: боюсь, что при описании его мне не удалось сохранить хладнокровие, так как ничто не могло смягчить воспоминаний о том смертном страхе, который сжал мне сердце, когда миссис Рид отвергла мои горячие мольбы о прощении и вторично заперла меня в темной красной комнате наедине с призраком.

Я кончила. Мисс Темплъ некоторое время смотрела на меня в молчании. Затем она сказала:

— Я немного знаю мистера Ллойда. Я напишу ему. Если он подтвердит то, что ты рассказала, с тебя при всех будет снято обвинение; что касается меня, Джен, в моих глазах ты оправдана уже сейчас.

Она поцеловала меня и, все еще не отпуская от себя (мне было очень хорошо возле нее, я испытывала детскую радость, глядя на ее лицо, на ее платье, на скромные украшения, на белый лоб с густыми шелковистыми кудрями и лучистые темные глаза), продолжала, обращаясь к Элен Бернс:

— А ты как чувствуешь себя сегодня, Элен? Ты днем много кашляла?

— Не так много, сударыня.

- А боль в груди?
- Она теперь слабее.

Примерно неделю спустя после описанных событий мисс Темпл получила от мистера Ллойда ответ на свое письмо, видимо, подтвердивший правоту моих слов. Собрав всю школу, мисс Темпл объявила, что в связи с обвинением, выдвинутым против Джен Эйр, было произведено самое тщательное расследование, и она счастлива, что может заявить перед всеми о моем полном оправдании. Учительницы окружили меня. Все жали мне руки и целовали меня, а по рядам моих подруг пробежал шепот удовлетворения.

Таким образом, с меня была снята мучительная тяжесть, и я с новыми силами принялась за работу, твердо решив преодолеть все препятствия. Я упорно трудилась, и мои усилия увенчались успехом; постоянные занятия укрепляли мою память и развивали во мне ум и способности. Через две-три недели я была переведена в следующий класс, а меньше чем через два месяца мне было разрешено начать уроки французского языка и рисования. Помню, что в один день я выучила первые два времени глагола *etre*¹ и нарисовала свой первый домик (его стены были так кривы, что могли поспорить с Пизанской башней). Вечером, ложась в постель, я даже забыла представить себе роскошный ужин из жареной картошки или же из булки и парного молока – мои излюбленные яства, которыми я обычно старалась в воображении утолить постоянно мучивший меня голод. Вместо этого я представляла себе в темноте прекрасные рисунки, и все они были сделаны мной: дома и деревья, живописные скалы и развалины, стада на пастбище во вкусе голландских живописцев, пестрые бабочки, трепещущие над полураскрытыми розами, птицы, клюющие зрелые вишни, или окруженное молодыми побегами плюща гнездо королька с похожими на жемчуг яйцами. Я старалась также прикинуть в уме, скоро ли я смогу переводить французские сказки, томик которых мне сегодня показывала мадам Пьеро; однако я не успела всего додумать, так как крепко уснула.

Прав был Соломон, сказав: «Угощение из зелени, но при любви лучше, нежели откормленный бык, но при нем ненависть».

Теперь я уже не променяла бы Ловуд со всеми его лишениями на Грейтсхэд с его навязчивой роскошью.



1. Как ты считаешь, могут ли физические лишения «укрепить дух» ребенка?
2. Каким человеком тебе представляется мистер Брокльхерст?
3. Как ты думаешь, какой жизненный урок дали Джен Эйр мистер Брокльхерст и мисс Темпл?
4. Как ты считаешь, должен ли ребенок обладать чувством собственного достоинства, требовать уважения к себе как личности, иметь собственное мнение?

¹ Быть (фр.).

5. Нужно ли стремиться любой ценой завоевать любовь окружающих?
6. Как ты понимаешь слова Элен Бернс: «Если весь мир будет ненавидеть тебя и считать тебя дурной, но ты чиста перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей»? Что значит жить по совести?
- (П) 7. Какому унижению – физическому или моральному – подвергаются герои М. Горького и Ш. Бронте? Какое из них, по-твоему, страшнее?
- (П) 8. Вспомни повесть Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки», которую ты читал в 4-м классе (книга для чтения «В океане света», ч. II). Чем близки образы главных героинь – Лены Иконинной и Джен Эйр? В чем еще созвучны друг другу эти произведения?

Вопросы к разделу «Я и мое детство»

1. Есть ли что-то общее, кроме темы, в произведениях этого раздела?
2. Как ты думаешь, почему многие писатели в своем творчестве обращаются к теме детства? Почему у них возникает потребность вспомнить и осмыслить свое детство?
3. Перечитай эпиграф к разделу «Я и мое детство». Как ты понимаешь его смысл? Как соотносится эпиграф с каждым из произведений, включенных в этот раздел?
4. Можешь ли ты сформулировать обобщенно: к каким страницам детства чаще всего возвращаются писатели?
5. Как ты понял, почему из похожих ситуаций (столкновение добра и зла; встреча с лицемерием, жестокостью; пережитые унижение, отчаяние, страх...) одни люди выходят с желанием творить добро, а другие – с ненавистью? Какими примерами из прочитанных произведений ты мог бы аргументировать свой ответ?
6. В чем отличие мемуарной литературы от художественных автобиографических произведений?
7. Уточни смысл понятий «характер» и «характеристика» героя. Как соотносятся понятия «автор» и «герой» в мемуарах и художественной автобиографии?
- (ТР) 8. Какие люди и события в детстве оказали влияние на тебя, на твой характер? Расскажи или напиши об этом.
9. Каким ты воспринимаешь окружающий мир сейчас и каким воспринимал его пять лет назад? Есть ли разница?
10. Вернись к вопросам 1–3 на с. 6. Как бы ты ответил на них после чтения произведений этого раздела?
11. Рассмотрю иллюстрацию к разделу 1 на с. 8. Как ты понимаешь ее смысл? Как она связана с содержанием раздела?

Подведем итоги.

Автор и его герой в мемуарах – и художественной автобиографии.

Литературный герой – не просто действующее лицо. Автор исследует его внутренний мир, обстоятельства, в которых шло формирование характера героя, его отличительные черты (индивидуальность), т.е. личность.

Становление личности героя, а не просто история жизни, рассказанная прожитым ее человеком, – таков предмет наблюдений автобиографической литературы, с которой вы познакомились в этом разделе. Основы личности, без сомнения, закладываются в детстве. Отсюда такой интерес у авторов к теме детства. В отличие от мемуаров, художественная автобиография допускает большую долю вымысла, субъективного, повествование строится последовательно. В мемуарах автор стремится быть точным в изображении исторических событий и людей, беспристрастным; из событий своей жизни он выбирает наиболее значимые. В то же время и автобиографическая литература, и мемуары описывают реальные события прошлого, участником которых был автор.

Можно выделить литературные традиции, присущие художественной автобиографии. Так, эта литература всегда внимательна и терпима к главному герою – ребенку, гуманистична – то есть, исполнена любви к человеку. А вот исследование Л.Н. Толстым развития (диалектики) души своих героев было его собственным художественным открытием, то есть новаторством.

Автор и его герой в литературной автобиографии не тождественны. В то же время каждое художественное произведение несет на себе отпечаток жизни автора, эпохи, в которую он жил и писал. В мемуарах автор пишет в первую очередь о себе и выступает на страницах своей книги в роли героя-рассказчика.



Попробуй записать свои мысли.

Темы сочинений

1. Как (когда) я ощутил себя взрослым.
2. Человек, который повлиял на меня.
3. Доброта и жестокость в жизни героев А. Герцена, Л. Толстого, М. Горького, III. Бронте (по выбору).
4. Я писатель. Зачем я пишу?

Однажды,
Однажды, себя самого ожидая,
Сказал я: Гийом, час настал и ты должен прийти.
Чтоб узнал наконец-то себя
Тот, кто знает других.

Гийом Аполлинэр



Раздел 2

Я и Я...

С. Дали. Рождение нового человека (фрагмент)



Д.С. Самойлов

Вдруг странный стих во мне родится,
Я не могу его поймать.
Какие-то слова и лица
И время тает или длится.
Нет! Невозможно научиться
Себя и близких понимать!

70-е гг. XX в.

17 октября. Сегодня в университете наши спорили, даже неважно о чем. Я почему-то назло всем защищал точку зрения, которую не разделяю. Сейчас мне стыдно моего запала и хлестких фраз... Психологи говорят, что в каждом человеке живет три «я»: каким тебя видят люди, каким ты сам себя представляешь и какой ты есть на самом деле. Думаю, для меня важнее второе «я», потому что с ним я провожу больше всего времени, с ним мне иногда жить очень сложно. Я пытаюсь понять причины своих собственных поступков и не всегда могу. Как часто бывает, что добрые намерения оборачиваются несчастьями. А мои муки совести – и зачем она только дана человеку? Не понимаю выражения «жить по совести» – от этого можно сойти с ума. Ладно, я забрался в дебри. В отличие от Б. Пастернака я не хочу доходить «до самой сути», потому что не верю, что ее можно постичь. Скорее я согласен с Д.Самойловым: невозможно научиться понимать себя...

1. Какое из трех «я», живущих в каждом человеке, для тебя важнее всего?
2. Всегда ли тебе удастся разобраться в причинах своих поступков?
3. Как ты понимаешь выражение «жить по совести»?
4. Для чего дана человеку совесть? Какова ее роль в становлении личности?
5. Как ты думаешь, с какого момента человек может считать себя личностью?
6. Надеемся, что размышления над нашими вопросами помогут тебе понять рассказ В.Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки». Подумай, что заставило автора написать такое страшное произведение.



П. Пикассо. Мальчик с собакой.

В.Ф. Тендряков

Хлеб для собаки

Лето 1933 года. У прокопченного, крашеного казенной охрой вокзального здания, за вылуценным заборчиком – сквозной березовый скверик. В нем прямо на утоптаных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми.

Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться – если не утерян – замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель сего носит такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества. Но уже никого не заботило, что он, имярек¹, лишенец, адмовысланный, не доехал до места, никого не интересовало, что он, имярек, лишенец, нигде не живет, не работает, ничего не ест. Он выпал из числа людей.

Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе с ними в наши северные места прибыло и южное словечко «куркуль».

Куркули даже внешне не походили на людей.

Одни из них – скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.

¹ Имярек – слово, заменяющее чье-нибудь имя, в значении «некто», «тот-то».

Другие, наоборот, туго раздуты – вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа, тела колыхнутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти.

И вели они себя сейчас тоже не как люди.

Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьими широкими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.

А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли...

Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали – спали.

Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тишайше грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал – вставал во весь рост, обхватывал лучинными, ломкими руками гладкий, сильный ствол березы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый, собирался, наверное, крикнуть испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, «бунтарь» сползал вниз по стволу и... затихал насовсем.

Такие и после смерти не походили на людей – по-обезьяньи сжимали деревья.

Взрослые обходили скверик. Только по перрону вдоль низенькой оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной фуражке с кричаще красным верхом. У него было оплывшее, свинцовое лицо, он глядел себе под ноги и молчал.

Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной, степенный парень с застывшей миной – «смотри ты у меня!».

– Никто не выполз? – спрашивал он у начальника станции.

А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы.

Ваня Душной следил, чтоб куркули не расползались из скверика – ни на перрон, ни на пути.

Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы не могли задушить нашего зверушечьего любопытства. Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упрямой панической жалости, мы наблюдали за короедами, за вспышками «бунтарей», кончающимися хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз.

Начальник станции – «красная шапочка» – однажды повернулся в нашу сторону воспаленно-темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу:

— Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир?..

Долго выдержать сквера мы не могли, отрывались от него, глубоко дыша, словно проветривая все закоулки своей отравленной души, бежали в поселок.

Туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню:

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
страна встает со славою
на встречу дня...

Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же после того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах.

Наверное, потому, что ужасы сквера появились не сразу и у меня была возможность как-то попривыкнуть, обмозолиться.

Первое потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытал от тихого уличного случая.

Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатным воротничком и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стеклянную банку с молоком, которое купила у перрона на станции. Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустилась перед ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлипнула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки на дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно.

А я стоял в стороне и — нет, не ревел вместе с ней — боялся, надо мной засмеются прохожие.

Мать давала мне в школу завтрак: два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я взял уже не два ломтя, а четыре...

На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул:

— Кто хочет?!

— Мне пшаточек, — отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы.

— И мне!.. И мне!.. Мне тоже!..

Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза.

— Всем не хватит! — Пашка старался оттолкнуть напивавших, но никто не отступал.

– Мне! Мне! Корочку!..

Я отламывал всем по кусочку.

Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою руку, хлеб упал, задние, желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног прошло по кускам, раздавило их.

– Пахорукий! – выругал меня Пашка.

И отошел. За ним все поползли в разные стороны.

На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все вгорячах нечаянно убили какое-то животное.

Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. По тому, как она отвела глаза, как спросила не сразу, а с еле приметной запинкой, я понял – она голодна тоже.

– Это кто ж такой сытый?

И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй, со злорадством объявили:

– Володька Тенков сытый! Он это!..

Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, я действительно был сыт, мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паек. Мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленым яйцом!

Ольга Станиславна начала урок.

– В прошлый раз мы проходили правописание... – и замолчала. – В прошлый раз мы... – она старалась не глядеть на раздавленный хлеб. – Володя Тенков, встань, подбери за собой!

Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс дышал над моей головой.

После этого я наотрез отказался брать в школу завтраки.

Вскоре я увидел истощенных людей с громадными кроткопечальными глазами восточных красавиц...

И больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами...

Истощенных – кожа и кости – у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой – слонами.

И вот березовый сквер возле вокзала...

Я кой к чему успел привыкнуть, не сходил с ума.

<...> Я сидел дома за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины: направленные вдаль, тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору, клокочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип, пена... И под горло подкатывала тошнота.

Раньше мать про меня говорила: «На этого не пожалуюсь, что ни поставь, – уминает, за ушами трещит». Сейчас она подымала крик:

– Заелись! С жиру беситесь!..

«С жиру бесился» я один, но если мать начинала ругаться, то

всегда ругала сразу двоих – меня и брата. Брат был моложе на три года, в свои семь лет умел переживать только за самого себя, а потому ел – «за ушами трещит».

– Беситесь! Супу не хотим, картошки не хотим! Кругом люди черствому сухарю рады-радехоньки. Вам хоть рябчиков подавай.

О рябчиках я только читал стишки: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» Объявить голодовку, вообще отказаться от еды я не мог. Во-первых, не разрешила бы мать. Во-вторых, тошнота тошнотой, картинки картинками, а есть-то мне все-таки хотелось, и вовсе не буржуйских рябчиков. Меня заставляли проглотить первую ложку, а уж дальше шло само собой, я расправлялся с обедом, вставал из-за стола отяжелевший.

Вот тут-то все и начиналось...

Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден больше думать о себе, о добывании для себя хлеба насущного, само бремя голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Большею частью из числа сытых выходили идейные борцы с кастовой сытостью – Гракхи всех времен.

Я вставал из-за стола. Не потому ли в привокзальном сквере люди грызут кору, что я съел сейчас слишком много? <...>

Я не должен есть свои обеды один.

Я обязан с кем-то делиться.

С кем?..

Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг.

Кто – самый?.. Как узнать?

Не трудно. Следует пойти в березовый скверик и протянуть руку с куском хлеба первому же попавшемуся. Ошибиться нельзя, там все – самые, самые, иных нет.

Одному протянуть руку, а других не заметить?.. Одного осчастливить, а десятки обидеть отказом? И это будет воистину смертельная обида. Те, к кому рука не протянется, будут вывезены конюхом Абрамом.

Могут ли обойденные согласиться с тобой?.. Не опасно ли открыто протягивать руку помощи?..

Конечно же, я тогда думал не так, не такими словами, какими пишу сейчас, тридцать шесть лет спустя. Скорей всего я тогда вовсе не думал, а остро чувствовал, как животное, интуитивно угадывающее будущие осложнения. Не разумом, а чутьем тогда я осознал: благородное намерение – разломи пополам свой хлеб насущный, поделись с ближним – можно свершить только тайком от других, только воровски!

Я украдкой, воровски не доел то, что поставила передо мной на стол мать. Я воровски загрузил в свои карманы честно сэкономленные три куска хлеба, завернутый в газету комок пшенной каши величиной с кулак и чистый, совершенный, как кристалл,

кусочек сахара-рафинада. Среди бела дня я вышел на воровское дело – на тайную охоту на самого, самого голодного.

Я встретил Пашку Быкова, с которым учился в одном классе, жил на одной улице, дружить не дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что Пашка голоден всегда – днем и ночью, до обеда и после обеда. Семья Быковых – семь человек, все семеро живут на рабочие карточки отца, который работает сцепщиком на железной дороге. Но я не поделился с Пашкой хлебом – не самый...

Я встретил скрюченную бабку Обноскову, которая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на полях, на опушках леса травы и корешки, сушила, варила, парила их ... Другие такие одинокие старухи все поумирали. Я не поделился с бабкой – еще не самая.

Мимо меня протрусил Борис Исаакович Зильбербрунер в галошках, привязанных веревочками к грязным лодыжкам. Если бы я встретил этого Зильбербрунера раньше, то как знать, возможно, решил – тот самый. Недавно он был одним из шкилетников, торчащих возле столовки, но приноровился делать рыболовные крючки из проволоки, за них платили даже куриными яйцами.

Наконец я налетел на одного из шатающихся по поселку слонов. Широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком малахае цвета пахотной земли, в запорожской, казацкой шапке – грачиное гнездо, с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани.

Может, и он был еще не тот самый... Продолжи я свою охоту, наверное, наскочил бы на более несчастного, но остатки обеда жгли меня сквозь карманы, требовали: делись немедленно!

– Дяденька...

Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня со своей башенной высоты глаза-щелки.

Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом – какие-то плавающие, словно дряблые ягодицы, щеки,



низвергающийся на грудь подбородок, веки, совсем утопившие в себе глаза, широченная, натянутая до трупной синевы переносица. На таком лице ничего нельзя прочесть, ни страха, ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности, — подушка.

Терзая карман, я неловко стал освобождать первый кусок хлеба.

Разглаженная физиономия дрогнула, туго надутая, с короткими, грязными, несгибающимися пальцами кисть протянулась, взяла кусок нежно, настойчиво, нетерпеливо. Так берет из руки хлеб теленок с теплым носом и мягкими губами.

— Спасибо, хлопчик, — сказал фистулой слон.

Я выложил ему все, что у меня было.

— Завтра... На пустыре... Возле штабелей... Что-нибудь еще... — пообещал я и кинулся прочь с облегченными карманами и облегченной совестью.

Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо.

На пустыре, возле штабелей... На этот раз я нес восемь кусков хлеба, два ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все это я должен был съесть сам и не съел, сэкономил, когда отворачивалась мать.

Я бежал к пустырю вприпрыжку, придерживая обеими руками оттопыривающуюся на животе рубаху. Чья-то тень упала мне под ноги.

— Молодой человек! Молодой человек! Молю! Уделите минутку!..

Ко мне ли обращаются столь почтительно?..

Ко мне.

Поперек дороги стояла женщина в пыльной шляпке, известная всем по прозвищу Отрыжка. Она была не слонихой и не шкилетницей, просто инвалидкой, изуродованной какой-то странной болезнью. Все ее сухое тело неестественно измято, скрючено, вывернуто — плечики перекошены, спина откинута, маленькая птичья голова в замусоленной суконной шляпке с тусклым перышком где-то далеко позади всего тела. Время от времени эта голова делает отчаянное встряхивание, словно хозяйка собирается лихо воскликнуть: «Эх! И спляшу вам!» Но Отрыжка не плясала, а обычно начинала сильно-сильно подмигивать всей щекой.

Сейчас она подмигивала мне и говорила страстным, слезливым голосом:

— Молодой человек, поглядите на меня! Не стесняйтесь, не стесняйтесь, внимательней!.. Вы когда-нибудь видели обиженное богом существо?.. — Она подмигивала и наступала на меня, я пятился. — Я больна, я беспомощна, но у меня дома сын... Я — мать, я люблю его всей душой, я готова на все, чтоб его накормить... Мы оба забыли вкус хлеба, молодой человек! Маленький кусочек, прошу вас!..

Веселое до жути подмигивание всей щекой, черная рука с грязной тряпочкой, чтоб промокнуть глаза... Откуда она узнала, что

у меня под рубахой хлеб? Не сказал же ей слон, который ждет меня на пустыре. Слону выгодно молчать.

— Готова встать перед вами на колени. У вас такое доброе... у вас ангельское лицо!..

Как она узнала о хлебе? Нюхом? Колдовством?.. Я не понимал тогда, что не я один пытался подкормить ссыльных куркулей, что у всех простодушных спасителей было красноречиво воровское, виноватое выражение лица.

Устоять перед страстью Отрыжки, перед ее развеселым подмигиванием, перед скомканной грязной тряпицей я не мог. Я отдал весь хлеб с ломтиками сала, оставив вместе с банкой тушеной картошки только один кусок.

— Это я обещал...

Но Отрыжка пожирала сорочьими глазами консервную банку, трясла пыльной шляпкой с перышком, стонала:

— Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын — мы гибнем!..

Я отдал ей и картошку. Она засунула банку под кофту, жадно блеснула глазом на оставшийся в моей руке последний ломоть хлеба, дернула головой — эх, спляшу! — еще раз подмигнула щекой, пошла прочь, накрепкая набок, как тонущая лодка.

Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане, помят, а ведь я сам позвал — приходи на пустырь, я поставил голодного ждать целые сутки, сейчас я ему поднесу такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться!..

И я с досады — да и с голода тоже, — не сходя с места, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и... ядовит. Целый день после него я чувствовал себя отравленным: как я мог — вырвал изо рта у голодного! Как я мог!..

А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под окном у нашей калитки торчал знакомый слон. Он стоял, облаченный в свой необъятный кафтан цвета свежеспаханного поля, сложив жабьи мягкие руки на тучном животе, ветерок шевелил грязный мех на его казацкой шапке, — недвижим и башнеподобен.

Я сразу почувствовал себя гадким лисенком, загнанным в нору собакой. Он может простоять до вечера, может так стоять и завтра и послезавтра, спешить ему некуда, а стояние обещает хлеб.

Я дождался, пока мать ушла из дому, забрался в кухню, отвалил от буханки увесистую горбушку, достал из мешка десяток крупных сырых картофелин и выскочил...

У пахотного кафтана были бездонные карманы, в которых, наверное, могли исчезнуть все наши семейные запасы хлеба.

— Сынку, нэ вирь подлой бабе. Немае у нэй никого. Ни сына нэма, ни дочки.

Я и без него об этом догадывался — Отрыжка обманывала, но попробуй отказать ей, когда стоит перед тобой изломанная, подмигивает щекой и держит в руке грязную тряпицу, чтоб промокнуть глаза.

— Ой, лыхо, сынку, лыхо. Смэрть и та грэбуе... Ой, лыхо, лыхо, — сипло вздыхая, он медленно отчалил, с натугой волоча пыш-

ные ноги по занозистым доскам поселкового тротуара, обширный, как стог, величественный, как обветшалый ветряк. — Ой, лихо мни, лихо...

Я повернулся к дому и вздрогнул: передо мной стоял отец, на гладко выбритой голове играет солнечный зайчик, тучноватоплотный, в парусиновой гимнастерке, перехваченной тонким кавказским ремешком с бляшками, лицо не хмурое и глаза не завешены бровями — спокойное, усталое лицо.

Шагнул на меня, положил на мое плечо тяжелую руку и надолго загляделся куда-то в сторону, наконец спросил:

— Ты дал ему хлеба?

— Дал.

И он снова вглядывался вдаль.

Я люблю своего отца и горжусь им.

О великой революции, о Гражданской войне сейчас поют песни и складывают сказки. Это о моем отце поют, о нем складывают сказки!

Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров.

Он слышал Ленина на Финском вокзале. Он видел его стоящим на броневике, живым — не на памятнике.

Он был в Гражданскую комиссаром Четыреста шестнадцатого револька.

У него на шее рубец от колчаковского осколка.

Он получил в награду именные серебряные часы. Их потом украли, но я сам держал их в руках, видел надпись на крышке: «За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией»...

Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его молчания. Сейчас вот помолчит и скажет: «Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не предатель ли ты, Володька?»

Но он тихо спросил:

— Почему этому? Почему не другому?

— Этот подвернулся...

— Подвернется другой — дашь?

— Н-не знаю. Наверное, дам.

— А хватит ли у нас хлеба накормить всех?

Я молчал и смотрел в землю.

— У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпаешь, сынок. — Отец легонько подтолкнул меня в плечо. — Иди играй.

Знакомый слон начал вести со мной молчаливый поединок. Он подходил под наше окно и стоял, стоял, стоял, застывший, неряшливый, лишенный лица. Я старался не глядеть на него, терпел, и... слон выигрывал. Я выскакивал к нему с куском хлеба или холодной картофельной оладьей. Он получал дань и медлительно удалялся.

Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом трески, выловленным из вчерашней похлебки, я вдруг обнаружил, что под нашим забором на пыльной траве валяется еще один слон, укрытый

извоженной, когда-то черной железнодорожной шинелью. Он лишь приподнял навстречу мне нечесаную, в колтунах и болячках голову, прохрипел:

– Ма-а-альчик! По-ми-раю!..

И я увидел, что это правда, отдал ему кусок вареной трески.

На следующее утро под нашим забором лежали еще три шкилетника. Я попадал уже в полную осаду, я теперь не мог уже ничего вынести, чтобы откупиться. Пятерых не подкормишь от своих обедов и завтраков, да и запасов у матери на всех неостанет.

Брат бегал смотреть на гостей, возвращался возбужденно-радостный:

– Еще один шкилетник к Володьке приполз!

Мать ругалась:

– Лежку устроили, словно мы всех богаче. Прикормили паразитов, природы!

Как всегда, она ругала сразу двоих, хотя брат был не виновен ни сном ни духом. Мать ругалась, но выйти и отогнать голодных куркулей не решалась. Молча проходил мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не сказал в упрек ни единого слова.

Мать приказала:

– Вот кувшин – за квасом в столовку сбегай. И быстро мне!

Делать нечего, я принял из ее рук стеклянный кувшин.

Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепятственно, не вялым слонам и не еле ползающим шкилетникам перехватить меня.

Я долго толкался в столовке-чайной, покупал квас. Квас был настоящий, хлебный – никак не витаминный морс, – потому продавался не каждому, кто захочет, а только по спискам. Но торчи не торчи, а возвращаться надо.

Они меня ждали. Все лежащие сейчас торжественно стояли на ногах. Каскады заплат, медь кожи сквозь прорехи, зловещие оскалы заискивающих улыбок, гнойные глаза, безглазые физиономии, тянущиеся ко мне руки, тощие, как птичьи лапы, круглые, как мячи, и надтреснутые, шершавые голоса:

– Хлопчик, хлеба...

– По крошечке...

– Помираю, ма-а-альчик. Перед смертью куснуть...

– Хошь, руку свою съем? Хошь? Хошь?..

Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом.

– Хле-ебца-а...

– Корочку...

– Хошь, руку свою?..

И вдруг со стороны, энергично тряся пером на шляпке, налетела Отрыжка:

– Молодой человек! молю! На коленях молю!

Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, Господу Богу.

И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах. Из меня рыдающим голопом вырвался чужой, дикий голос:

– Ухо-ди-те! Уходи-те!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите!

Отрыжка деловито поднялась, стряхнула мусор с юбки. Остальные, разом потухнув, опутив руки, начали поворачиваться ко мне спинами, расплзаться без спешки, вяло.

А я не мог остановиться, кричал рыдающе:

– Уходи-те!!

<...> Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке.

У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке.

Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.

– Что это у нее шерсть так растет? – спросил я.

Отец помолчал, нехотя пояснил:

– Выпадает... От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.

И меня словно обдало баннным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака... Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина – «с голодухи плешивеет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.

На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал – не появится ли та самая...

Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми, немытыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахнулась... Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издалека на мои руки – пусто, без выражения.

– Иди... Да иди же. Не бойся.

Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке. Сколько я ни упрашивал – не подошла, но и не исчезла.

После получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок – и... ни куска, ни собаки.

На следующее утро – новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же негибимой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен



Парад физкультурников (открытка). 30-е гг.



Погибающие от голода дети. 30-е гг.

только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.

То же самое и на третье утро, и на четвертое... Мы не пропустили ни одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения – даже собачьего страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.

Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые сыльные питались собаками, подманивали, убивали, раздвигали. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен... даже благодарности.

Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить.

Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.

Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.

В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.

Документальная реплика.

В самый разгар страшного голода в феврале 1933 года собирается в Москве Первый всесоюзный съезд колхозников-ударников. И на нем Сталин произносит слова, которые на много лет стали крылатыми:

«сделаем колхозы большевистскими», «сделаем колхозников — зажиточными».

Самые крайние из западных специалистов считают — на одной лишь Украине умерло тогда от голода шесть миллионов человек. Осторожный Рой Медведев использует данные более объективные: «...вероятно, от 3 до 4 миллионов...» по всей стране.

Но он же, Медведев, взял из ежегодника 1935 года «Сельское хозяйство СССР» (М., 1936, стр. 222) поразительную статистику. Цитирую: «Если из урожая 1928 года было вывезено за границу менее 1 миллиона центнеров зерна, то в 1929 году было вывезено 13, в 1930 году — 48,3, в 1931 году — 51,8, в 1932—м — 18,1 миллиона центнеров. Даже в самом голодном, 1933 году в Западную Европу было вывезено около 10 миллионов центнеров зерна!»

«Сделаем всех колхозников зажиточными!»

1969–1970



1. Почему Володя стал кормить собаку, а не людей?
- (П) 2. Вспомни рассказ «Любовь к жизни» Дж. Лондона. Какими показаны в нем и в рассказе В.Ф. Тендрякова люди, страдающие от голода?
3. Почему рассказ начинается со страшного описания ссыльных? Знаешь ли ты, кто такие раскулаченные, лишенцы?
4. Как ты думаешь, какой нравственный урок получили дети, наблюдавшие за куркулями?
5. Почему начальник станции «не отвечал, проходил мимо, не поднимал головы»? Как можно объяснить его самоубийство?
6. Почему Володю больше, чем смерть, потряс эпизод с разлитым молоком?
7. Почему одноклассники без благодарности отнеслись к попытке Володи накормить их?
8. Почему Володя прогнал от дома голодных людей?
9. Почему отец не сказал Володе ни слова в упрек? Что чувствовал отец?
10. Как ты понимаешь смысл фразы: «Не облезлого пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть»?
11. Должен ли человек, сделавший доброе дело, ждать благодарности или ответного доброго поступка?
12. Как ты думаешь, для чего автор поместил в конце рассказа «Документальную реплику»?
13. О чем этот рассказ? Сформулируй его тему. Можно ли его назвать автобиографическим?
14. Какие страницы этого рассказа тебя особенно потрясли? Подготовь выразительное чтение эпизодов?
15. Какие события, по-твоему, особенно остро переживает автор? Как это отразилось в языке повествования?
16. Знаешь ли ты другие произведения, вызывающие потрясения своей безжалостной правдой? Нужны ли в литературе такие страшные произведения?
17. В какой мере каждый из нас отвечает за происходящее вокруг?

Владимир Федорович Тендряков (1923–1984)

Владимир Федорович Тендряков родился в Вологодской области, в деревне Макаровская. Война для него началась наутро после школьного выпускного вечера, и он, семнадцатилетний, ушел на фронт. Воевал недолго, но в самую тяжелую пору войны. В 1943 году под Харьковом был тяжело ранен и демобилизован. Никакой гражданской профессии у Тендрякова тогда еще не было, и он пошел в школу преподавать то, что знал и умел, – военное дело. Потом, после войны, поступил в Московский институт кинематографии, а через год перешел в Литературный институт имени М. Горького. Работал журналистом, писал очерки о деревне. В 1948 г. в печати появился первый рассказ Владимира Тендрякова.



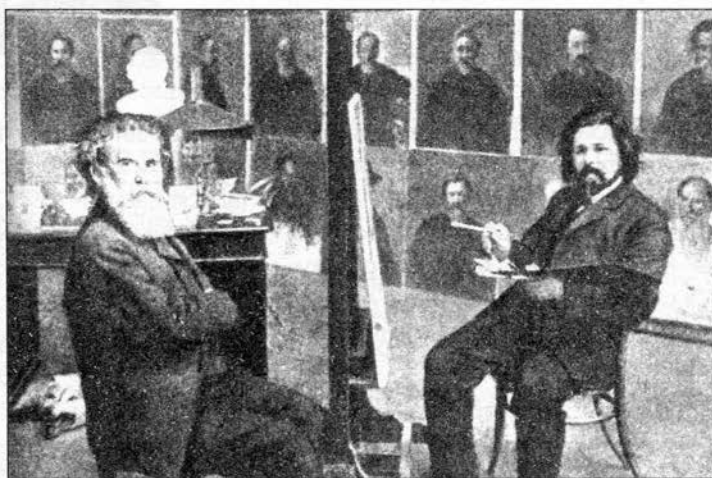
В отечественной литературе Тендряков известен как автор ряда повестей о школе, проблемах взросления подростков, нравственном выборе героя: «Ночь после выпуска» (1974), «Расплата» (1979), «Шестьдесят свечей» (1980) и др.

С декабря 1969 по март 1981 г. писатель создает цикл автобиографических рассказов: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки», «Параня», «Донна Анна». Каждый начинается с фиксации точной даты: «Лето 1929 года... Лето 1933 года... Лето 1937 года... Лето 1942 года... Страшные годы в истории страны. В каждом рассказе есть «документальная реплика», передающая отношение писателя к описанным событиям.

18 октября. Сегодня ходил с однокурсниками в картинную галерею. Какое удивительное воздействие оказывает на нас искусство! Почему картины, написанные много лет назад, заставляют переживать и вызывают столько мыслей? Почему в обычной жизни мы так мало внимания обращаем на окружающее нас? Неужели нужна рамка и талантливый взгляд, чтобы наши эмоции «заработали»? Я часто думаю: а есть ли во мне какой-нибудь талант? Не останется ли он не замеченным мной и другими? Среди моих друзей много таких, кто считает себя талантливыми, но, по-моему, они просто способные, не боль-

ше. Не могу четко сформулировать, почему иногда, читая книгу, слушая музыку или просматривая фильм, я чувствую, что это **талантливо**. И не знаю, как объяснить, почему при жизни талант многих людей остается непризнанным.

Я дважды читал повесть Короленко «Слепой музыкант». Мне хотелось понять, как происходит становление личности человека, который живет в постоянной тьме. Ведь слепота – настоящая трагедия. Что такой человек теряет, а может быть, и приобретает?



И.К. Пархоменко в своей мастерской пишет портрет Короленко. 1909 г.

ДАВАЙ ПОДУМАЕМ НАД ВОПРОСАМИ

?

1. Можно ли считать художников и писателей особенными людьми?
2. Что значит «творческий человек»? Обязательно ли он должен быть музыкантом, или художником, или поэтом?
3. Считаешь ли ты себя талантливым в чем-то? Что нужно для того, чтобы талант развился?
4. Почему талантливый человек не всегда бывает понят и признан при жизни?
- (П) 5. Вспомни, какие произведения В.Г. Короленко и Л.А. Кассиля ты читал. Знакомясь с главами из книг «Слепой музыкант» и «Ранний восход», подумай о том, что сделало их главных героев по-настоящему талантливыми.

В. Г. Короленко

(1853–1921)

Слепой музыкант

(главы)

Из главы первой



Ребенок родился в богатой семье Юго-Западного края, в глухую полночь. Молодая мать лежала в глубоком забытии, но, когда в комнате раздался первый крик новорожденного, тихий и жалобный, она заметалась с закрытыми глазами в своей постели. Ее губы шептали что-то, и на бледном лице с мягкими, почти детскими еще чертами, появилась гримаса нетерпеливого страдания, как у балованного ребенка, испытывающего непривычное горе.

Бабка наклонилась ухом к ее что-то тихо шептавшим губам.

— Отчего... отчего это он? — спрашивала больная едва слышно. Бабка не поняла вопроса. Ребенок опять закричал. По лицу больной пробежало отражение острого страдания, и из закрытых глаз скользнула крупная слеза.

— Отчего, отчего? — по-прежнему тихо шептали ее губы.

— На этот раз бабка поняла вопрос и спокойно ответила:

— Вы спрашиваете, отчего ребенок плачет? Это всегда так бывает, успокойтесь.

Но мать не могла успокоиться. Она вздрагивала каждый раз при новом крике ребенка и все повторяла с гневным нетерпением:

— Отчего... так... так ужасно?

Бабка не слыхала в крике ребенка ничего особенного и, видя, что мать говорит точно в смутном забытии и, вероятно, просто бредит, оставила ее и занялась ребенком.

Юная мать смолкла, и только по временам какое-то тяжелое страдание, которое не могло прорваться наружу движениями или словами, выдавливалось из ее глаз крупные слезы. Они просачивались сквозь густые ресницы и тихо катились по бледным, как мрамор, щекам.

Быть может, сердце матери почуяло, что вместе с новорожденным ребенком явилось на свет темное, неисходное горе, которое нависло над колыбелью, чтобы сопровождать новую жизнь до самой могилы.

Может быть, впрочем, это был и действительный бред. Как бы то ни было, ребенок родился слепым. <...>

Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленно. Кроме названных уже лиц, оно состояло еще из отца и «дяди Максима», как звали его все без исключения домоладцы и даже посторонние. Отец был похож на тысячу других деревенских помещиков Юго-Западного края: он был добродушен, даже, пожалуй, добр, хорошо смотрел за рабочими и очень любил строить и перестраивать мельницы. Это занятие поглощало почти все его время, и потому голос его раздавался в доме только в известные, определенные часы дня, совпадавшие с обедом, завтраком и другими событиями в том же роде. В этих случаях он всегда произносил неизменную фразу: «здорова ли ты, моя голубка?» – после чего усаживался за стол и уже почти ничего не говорил, разве изредка сообщал что-либо о дубовых валах и шестернях. Понятно, что его мирное и незатейливое существование мало отражалось на душевном складе его сына. Зато дядя Максим был совсем в другом роде. Лет за десять до описываемых событий дядя Максим был известен за самого опасного забияку не только в окрестностях его имения, но даже в Киеве «на Контрактах»¹. Все удивлялись, как это в таком почтенном во всех отношениях семействе, каково было семейство пани Попельской, урожденной Яценко, мог выдаться такой ужасный братец. Никто не знал, как следует с ним держаться и чем ему угодить. На любезности панов он отвечал дерзостями, а мужикам спускал своеволие и грубости, на которые самый смиренный из «шляхтичей» непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим за что-то сильно осердился на австрийцев и уехал в Италию: там он примкнул к такому же забияке и еретик² – Гарибальди, который, как с ужасом передавали паны помещики, побратался с чертом и в грош не ставит самого папу. <...>

Должно быть, австрийцы тоже крепко осердились на дядю Максима. По временам в Курьерке, исстари любимой газете панов помещиков, упоминалось в реляциях его имя в числе отчаянных гарибальдийских сподвижников, пока однажды из того же

Курьерка паны не узнали, что Максим упал вместе с лошадью на поле сражения. Разъяренные австрийцы, давно уже, очевидно, точившие зубы на заядлого волынца (которым, чуть ли не одним, по мнению его соотечественников, держался еще Гарибальди), изрубили его, как капусту.

– Плохо кончил Максим, – сказали себе паны и приписали это специальному заступничеству св. Петра за своего наместника. Максима считали умершим.

Оказалось, однако, что австрийские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу и она осталась, хотя и в сильно попорченном теле. Гари-



¹ «Контракты» – местное название некогда славной киевской ярмарки. (Примеч. авт.)

² Еретик – человек, противоречащий церковным догматам, (перен.) общепринятому мнению.

бальдийские забияки вынесли своего достойного товарища из свалки, отдали его куда-то в госпиталь, и вот, через несколько лет, Максим неожиданно явился в дом своей сестры, где и остался. <...> Неизвестно, что вышло бы со временем из мальчика, predisположенного к беспредметной озлобленности своим несчастьем и в котором все окружающее стремилось развить эгоизм, если бы странная судьба и австрийские сабли не заставили дядю Максима поселиться в деревне, в семье сестры.

Присутствие в доме слепого мальчика постепенно и нечувствительно дало деятельной мысли изувеченного бойца другое направление. Он все так же просиживал целые часы, дымя трубкой, но в глазах, вместо глубокой и тупой боли, виднелось теперь вдумчивое выражение заинтересованного наблюдателя. И чем более присматривался дядя Максим, тем чаще хмурились его густые брови, и он все усиленнее пыхтел своею трубкой. Наконец однажды он решился на вмешательство.

— Этот малый, — сказал он, пуская кольцо за кольцом, — будет еще гораздо несчастнее меня. Лучше бы ему не родиться.

Молодая женщина низко опустила голову, и слеза упала на ее работу.

— Жестоко напоминать мне об этом, Макс, — сказала она тихо, — напоминать без цели...

— Я говорю только правду, — ответил Максим. — У меня нет ноги и руки, но есть глаза. У малого нет глаз, со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли...

— Отчего же?

— Пойми меня, Анна, — сказал Максим мягче. — Я не стал бы напрасно говорить тебе жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные свои способности до такой степени, чтобы хотя отчасти вознаградить его слепоту. Но для этого нужно упражнение, а упражнение вызывается только необходимостью. Глупая заботливость, устраняющая от него необходимость усилий, убивает в нем все шансы на более полную жизнь.

Мать была умна и потому сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставлявшее ее кидаться сломя голову при каждом жалобном крике ребенка. <...>

По натуре он был очень живым и подвижным ребенком, но месяцы шли за месяцами, и слепота все более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика, начинавший определяться. Живость движений понемногу терялась; он стал забиваться в укромные уголки и сидел там по целым часам смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда в комнате бывало тихо и смена разнообразных звуков не развлекала его внимания, ребенок, казалось, думал о чем-то с недоумелым и удивленным выражением на красивом и не по-детски серьезном лице. <...>

Мир, сверкавший, двигавшийся и звучащий вокруг, в маленькую головку слепого проникал главным образом в форме звуков,

и в эти формы отливались его представления. На лице застывало особенное внимание к звукам: нижняя челюсть слегка оттягивалась вперед на тонкой и удлинившейся шее. Брови приобретали особенную подвижность, а красивые, но неподвижные глаза придавали лицу слепого какой-то суровый и вместе трогательный отпечаток.

Из главы второй



II

Ему шел уже пятый год. Он был тонок и слаб, но ходил и даже бегал свободно по всему дому. Кто смотрел на него, как он уверенно выступал в комнатах, поворачивая именно там, где надо, и свободно разыскивая нужные ему предметы, тот мог бы подумать, если это был незнакомый человек, что перед ним не слепой, а только странно сосредоточенный ребенок с задумчивыми и глядевшими в неопределенную даль глазами. Но уже по двору он ходил с большим трудом, постукивая перед собой палкой. Если же в руках у него не было палки, то он предпочитал ползать по земле, быстро исследуя руками попадавшиеся на пути предметы.

III

Был тихий летний вечер. Дядя Максим сидел в саду. Отец, по обыкновению, захлопотался где-то в дальнем поле. На дворе и кругом было тихо; селение засыпало, в людской тоже смолк говор работников и прислуги. Мальчика уже с полчаса уложили в постель. <...>

Когда дремота все гуще застилала его сознание, когда смутный шелест букв совсем стихал и он переставал уже различать и дальний лай деревенских собак, и щелканье соловья за рекой, и меланхолическое позвякивание бубенчиков, подвязанных к пасшемуся на лугу жеребенку, — когда все отдельные звуки ступшевывались и терялись, ему начинало казаться, что все они, слившись в одну стройную гармонию, тихо влетают в окно и долго кружатся над его постелью, навевая неопределенные, но удивительно приятные грезы. Наутро он просыпался разнеженный и обращался к матери с живым вопросом:

— Что это было... вчера? Что это такое?..

Мать не знала, в чем дело, и думала, что ребенка волнуют сны. Она сама укладывала его в постель, заботливо крестила и ухаживала, когда он начинал дремать, не замечая при этом ничего особенного. Но на другой день мальчик опять говорил ей о чем-то, приятно-тревожившем его с вечера.

— Так хорошо, мама, так хорошо! Что же это такое?

В этот вечер она решилась остаться у постели ребенка подольше, чтобы разъяснить себе странную загадку. Она сидела на стуле, рядом с его кроваткой, машинально перебирая петли вязанья и прислушиваясь к ровному дыханию своего Петруся. Казалось, он совсем уже заснул, как вдруг в темноте послышался его тихий голос:

— Мама, ты здесь?

— Да, да, мой мальчик...

— Уйди, пожалуйста, оно боится тебя и до сих пор его нет. Я уже совсем было заснул, а этого все нет...

Удивленная мать с каким-то странным чувством слушала этот полусонный, жалобный шепот... Ребенок говорил о своих сонных грезах с такою уверенностью, как будто это что-то реальное. Тем не менее мать встала, наклонилась к мальчику, чтобы поцеловать его, и тихо вышла, решившись незаметно подойти к открытому окну со стороны сада.

Не успела она сделать своего обхода, как загадка разъяснилась. Она услышала вдруг тихие, переливчатые тоны свирели, которые неслись из конюшни, смешиваясь с шорохом южного вечера. Она сразу поняла, что именно эти нехитрые переливы простой мелодии, совпадавшие с фантастическим часом дремоты, так приятно настраивали воспоминания мальчика.

Она сама остановилась, постояла с минуту, прислушиваясь к задушевному напевам малорусской песни, и, совершенно успокоенная, ушла в темную аллею сада к дяде Максиму.

«Хорошо играет Иохим, — подумала она. — Странно, сколько тонкого чувства в этом грубоватом на вид «холопе».

Из главы третьей

II

Теперь впечатления слуха окончательно получили в жизни слепого преобладающее значение, звуковые формы стали главными формами его мысли, центром умственной работы. Он запоминал песни, вслушиваясь в их чарующие мотивы, знакомился с их содержанием, окрашивая его грустью, весельем или раздумчивостью мелодии. Он еще внимательнее ловил голоса окружающей природы и, сливая смутные ощущения с привычными родными мотивами, по временам умел обобщить их свободной импровизацией, в которой трудно было отличить, где кончается народный, привычный уху мотив и где начинается личное творче-



ство. Он и сам не мог разделить в своих песнях этих двух элементов: так цельно слились в нем они оба. Он быстро заучивал все, что передавала ему мать, учившая его игре на фортепиано, но любил также и Иохимову дудку. Фортепиано было богаче, звучнее и полнее, но оно стояло в комнате, тогда как дудку можно было брать с собой в поле, и ее переливы так нераздельно сливались с тихими вздохами степи, что порой Петрусь сам не мог отдать себе отчета, ветер ли навевает издалека смутные думы, или это он сам извлекает их из своей свирели. <...>

IV

Однажды Петрик был один на холмике над рекой. Солнце садилось, в воздухе стояла тишина, только мычание возвращавшегося из деревни стада долетало сюда, смягченное расстоянием. Мальчик только что перестал играть и откинулся на траву, отдаваясь полудремотной истоме летнего вечера. Он забылся на минуту, как вдруг чьи-то легкие шаги вывели его из дремоты. Он с неудовольствием приподнялся на локоть и прислушался. Шаги остановились у подножия холмика. Походка была ему незнакома.

— Мальчик! — услышал он вдруг возглас детского голоса. — Не знаешь ли, кто это тут сейчас играл?

Слепой не любил, когда нарушали его одиночество. Поэтому он ответил на вопрос не особенно любезным тоном:

— Это я...

Легкий удивленный возглас был ответом на это заявление, и тотчас же голос девочки прибавил тоном простодушного одобрения:

— Как хорошо!

Слепой промолчал.

— Что же вы не уходите? — спросил он затем, слыша, что непрощенная собеседница продолжает стоять на месте.

— Зачем же ты меня гонишь? — спросила девочка своим чистым и простодушно-удивленным голосом.

Звуки этого спокойного детского голоса приятно действовали на слух слепого; тем не менее он ответил в прежнем тоне:

— Я не люблю, когда ко мне приходят...

Девочка засмеялась.

— Вот еще!.. Смотрите-ка! Разве вся земля твоя и ты можешь кому-нибудь запретить ходить по земле?

— Мама приказала всем, чтобы сюда ко мне не ходили.

— Мама? — переспросила задумчиво девочка. — А моя мама позволила мне ходить над рекой...

Мальчик, несколько избалованный всеобщей уступчивостью, не привык к таким настойчивым возражениям. Вспышка гнева прошла по его лицу нервной волной; он приподнялся и заговорил быстро и возбужденно:

— Уйдите, уйдите, уйдите!..

Неизвестно, чем кончилась бы эта сцена, но в это время от усадьбы послышался голос Иохима, звавшего мальчика к чаю. Он быстро сбежал с холмика.

— Ах, какой гадкий мальчик! — услышал он за собой искренно негодующее замечание.

У

На следующий день, сидя на том же месте, мальчик вспомнил о вчерашнем столкновении. В этом воспоминании теперь не было досады. Напротив, ему даже захотелось, чтоб опять пришла эта девочка с таким приятным, спокойным голосом, какого он никогда еще не слышал. Знакомые ему дети громко кричали, смеялись, дрались и плакали, но ни один из них не говорил так приятно. Ему стало жаль, что он обидел незнакомку, которая, вероятно, никогда более не вернется.

Действительно, дня три девочка совсем не приходила. Но на четвертый Петрусь услышал ее шаги внизу, на берегу реки. Она шла тихо; береговая галька легко шуршала под ее ногами; и она напевала вполголоса польскую песенку.

— Послушайте! — окликнул он, когда она с ним поравнялась. — Это опять вы?

Девочка не ответила. Камешки по-прежнему шуршали под ее ногами. В деланной беззаботности ее голоса, напевавшего песню, мальчику слышалась еще не забытая обида.

Однако, пройдя несколько шагов, незнакомка остановилась. Две-три секунды прошло в молчании. Она перебирала в это время букет полевых цветов, который держала в руках, а он ждал ответа. В этой остановке и последовавшем за нею молчании он уловил оттенок умышленного пренебрежения.

— Разве вы не видите, что это я? — спросила она, наконец, с большим достоинством, покончив с цветами.

Этот простой вопрос больно отозвался в сердце слепого. Он ничего не ответил, и только его руки, которыми он упирался в землю, как-то судорожно схватились за траву. Но разговор уже на-

чался, и девочка, все стоя на том же месте и занимаясь своим букетом, опять спросила:

- Кто тебя выучил так хорошо играть на дудке?
- Иохим выучил, – ответил Петрусь.
- Очень хорошо! А отчего ты такой сердитый?
- Я ... не сержусь на вас, – сказал мальчик тихо.
- Ну так и я не сержусь... Давай играть вместе.
- Я не умею играть с вами, – ответил он потупившись.
- Не умеешь играть?.. Почему?
- Так.
- Нет, почему же?
- Так, – ответил он чуть слышно и еще более потупился.

Ему не приходилось еще никогда говорить с кем-нибудь о своей слепоте, и простодушный тон девочки, предлагавшей с наивною настойчивостью этот вопрос, отозвался в нем опять тупою болью. Незнакомка поднялась на холмик.

– Какой ты смешной, – заговорила она с снисходительным сожалением, усаживаясь рядом с ним на траве. – Это ты, верно, оттого, что еще со мной не знаком. Вот узнаешь меня, тогда перестанешь бояться. А я не боюсь никого.

Она говорила это с беспечной ясностью, и мальчик услышал, как она бросила к себе в передник груды цветов.

- Где вы взяли цветы? – спросил он.
- Там, – мотнула она головой, указывая назад.
- На лугу?
- Нет, там.
- Значит, в роще. А какие это цветы?
- Разве ты не знаешь цветов?.. Ах, какой ты странный... право, ты очень странный...

Мальчик взял в руку цветов. Его пальцы быстро и легко тронули листья и венчик.

– Это лютик, – сказал он, – а вот это фиалка.

Потом он захотел тем же способом ознакомиться и со своею собеседницею: взяв левою рукой девочку за плечо, он правой стал ощупывать ее волосы, потом веки и быстро пробежал пальцами по лицу, кое-где останавливаясь и внимательно изучая незнакомые черты.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что девочка, пораженная удивлением, не могла сказать ни слова; она только глядела на него широко открытыми глазами, в которых отражалось чувство, близкое к ужасу. Только теперь она заметила, что в лице ее нового знакомого есть что-то необычайное. Бледные и тонкие черты застыли на выражении напряженного внимания, как-то не гармонизировавшего с его неподвижным взглядом. Глаза мальчика глядели куда-то, без всякого отношения к тому, что он делал, и в них странно переливался отблеск закатывавшегося солнца. Все это показалось девочке на одну минуту просто тяжелым кошмаром.

Высвободив свое плечо из руки мальчика, она вдруг вскочила на ноги и заплакала.

— Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка? — заговорила она гневно, сквозь слезы. — Что я тебе сделала?.. Зачем?..

Он сидел на том же месте, озадаченный, с низко опущенною головой, и странное чувство — смесь досады и унижения — наполнило болью его сердце. В первый раз еще пришлось ему испытать унижение калеки; в первый раз узнал он, что его физический недостаток может внушать не одно сожаление, но и испуг. Конечно, он не мог отдать себе ясного отчета в угнетавшем его тяжелом чувстве, но оттого, что сознание это было неясно и смутно, оно доставляло не меньше страдания.

Чувство жгучей боли и обиды подступило к его горлу; он упал на траву и заплакал. Плач этот становился все сильнее, судорожные рыдания потрясали все его маленькое тело, тем более что какая-то врожденная гордость заставляла его подавлять эту вспышку. Девочка, которая сбегала уже с холмика, услышала эти глухие рыдания и с удивлением повернулась. Видя, что ее новый знакомый лежит лицом к земле и горько плачет, она почувствовала участие, тихо взошла на холмик и остановилась над плачущим.

— Послушай, — заговорила она тихо, — о чем ты плачешь? Ты, верно, думаешь, что я нажалуюсь? Ну, не плачь, я никому не скажу. — Слово участия и ласковый тон вызвали в мальчике еще большую нервную вспышку плача. Тогда девочка присела около него на корточки; просидев так с полминуты, она тихо тронула его волосы, погладила его голову и затем, с мягкою настойчивостью матери, которая успокаивает наказанного ребенка, приподняла его голову и стала вытирать платком заплаканные глаза.

— Ну, ну, перестань же! — заговорила она тоном взрослой женщины. — Я давно не сержусь. Я вижу, ты жалеешь, что напугал меня...

— Я не хотел напугать тебя, — ответил он, глубоко вздыхая, чтобы подавить нервные приступы.

— Хорошо, хорошо! Я не сержусь!.. Ты ведь больше не будешь. — Она приподняла его с земли и старалась усадить рядом с собою.

Он повиновался. Теперь он сидел, как прежде, лицом к стороне заката, и когда девочка опять взглянула на это лицо, освещенное красноватыми лучами, оно опять показалось ей странным. В глазах мальчика еще стояли слезы, но глаза эти были по-прежнему неподвижны; черты лица то и дело передергивались от нервных спазмов, но вместе с тем в них виднелось недетское, глубокое и тяжелое горе.

— А все-таки ты очень странный, — сказала она с задумчивым участием.

— Я не странный, — ответил мальчик с жалобною гримасой. — Нет, я не странный... Я... я — слепой!

— Слепо-ой? — протянула она нараспев, и голос ее дрогнул, как будто это грустное слово, тихо произнесенное мальчиком, нанесло неизгладимый удар в ее маленькое женственное сердце. — Слепо-ой? — повторила она еще более дрогнувшим голосом, и, как

будто ища защиты от охватившего всю ее неодолимого чувства жалости, она вдруг обвила шею мальчика руками и прислонилась к нему лицом.

Пораженная внезапностью печального открытия, маленькая женщина не удержалась на высоте своей солидности, и, превратившись вдруг в огорченного и беспомощного в своем огорчении ребенка, она, в свою очередь, горько и неутешно заплакала. <...>

VIII

С этого дня между посessorским домиком и усадьбой Попельских завязались ближайшие отношения. Девочка, которую звали Эвелиной, приходила ежедневно в усадьбу, а через некоторое время она тоже поступила ученицей к Максиму. <...>

Совместное обучение оказалось очень полезным для обоих. Петрусь шел, конечно, впереди, но это не исключало некоторого соревнования. Кроме того, он помогал ей часто выучивать уроки, а она находила иногда очень удачные приемы, чтобы объяснить мальчику что-либо трудно понятное для него, слепого. Кроме того, ее общество вносило в его занятия нечто своеобразное, придавало его умственной работе особый тон приятного возбуждения.

Вообще эта дружба была настоящим даром благосклонной судьбы. Теперь мальчик не искал уже полного уединения; он нашел то общение, которого не могла ему дать любовь взрослых, и в минуту чуткого душевного затишья ему приятно была ее близость. На утес или на реку они всегда отправлялись вдвоем. Когда он играл, она слушала его с наивным восхищением. Когда же он откладывал дудку, она начинала передавать ему свои детски-живые впечатления от окружающей природы; конечно, она не умела выражать их с достаточной полнотой подходящими словами, но зато в ее несложных рассказах, в их тоне он улавливал характерный колорит каждого описываемого явления. Так, когда говорила, например, о темноте раскинувшейся над землею сырой и черной ночи, он будто слышал эту темноту в сдержанно звучащих тонах ее робеющего голоса. Когда же, подняв кверху задумчивое лицо, она сообщала ему: «Ах, какая туча идет, какая туча темная-пре-темная!» — он ощущал сразу будто холодное дуновение и слышал в ее голосе пугающий шорох ползущего по небу, где-то в далекой высоте, чудовища. <...>

Из главы четвертой

IV

«Глаза, — сказал кто-то — зеркало души». Быть может, вернее было бы сравнить их с окнами, которыми вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего цветного мира. Кто может сказать, какая часть нашего душевного склада зависит от ощущений света?

Человек — одно звено в бесконечной цепи жизней, которая тянется через него из глубины прошедшего к бесконечному будущему. И вот в одном из таких звеньев, слепом мальчике, роковая случайность закрыла эти окна: жизнь должна пройти вся в темноте. Но значит ли это, что в его душе порвались навеки те струны, которыми душа откликается на световые впечатления? Нет, и через это темное существование должна была протянуться и передаться последующим поколениям внутренняя восприимчивость к свету. Его душа была цельная человеческая душа, со всеми ее способностями, а так как всякая способность носит в самой себе стремление к удовлетворению, то и в темной душе мальчика жило неутолимое стремление к свету. <...>

Из главы пятой

Так прошло еще несколько лет. Ничто не изменилось в тихой усадьбе. По-прежнему шумели буки в саду, только их листва будто потемнела, сделалась еще гуще; по-прежнему белели приветливые стены, только они чуть-чуть покривились и осели; по-прежнему хмурились соломенные стрехи, и даже свирель Иохима слышалась в те же часы из конюшни: только теперь уже и сам Иохим, оставшийся холостым конюхом в усадьбе, предпочитал слушать игру слепого панича на дудке или на фортепиано — безразлично. <...>

Однажды осенью, когда жнива были уже закончены и над полями, сверкая золотыми нитками на солнце, лениво и томно носилось «бабье лето», Попельские всей семьей отправились к Ставрученкам. Имя Ставручево лежало верстах в семидесяти от Попельских, но местность на этом расстоянии сильно менялась: последние отроги Карпат, еще видные на Волини и в Прибужье, исчезли, и местность переходила в степную Украину. На этих равнинах, перерезанных кое-где оврагами, лежали, утопая в садах и левадах¹, села, и кое-где по горизонту, давно запаханные и охваченные желтыми жнивами, рисовались высокие могилы. Такие далекие путешествия были вообще не в обычае семьи. За пределами знакомого села и ближайших полей, которые он изучил в совершенстве, Петр терялся, больше чувствовал свою слепоту и становился раздражителен и беспокоен. Теперь, впрочем, он охотно принял приглашение. После памятного вечера, когда он сознал сразу свое чувство и просыпающуюся силу таланта, он как-то смелее отно-



Ф. Гойя. Сон разума рождает чудовищ

¹ Лева́ды — 1) леса по берегам рек, затопляемые в половодье; 2) участки земли с рощей, садом.

сил ся к темной и неопределенной дали, которою охватывал его внешний мир. Она начинала тянуть его, все расширяясь в его воображении. <...>

Верстах в десяти от имени находился старый N-ский монастырь, очень известный в том крае. Когда-то он играл значительную роль в местной истории; не раз его осаждали, как саранча, загоны татар, посылавших через стены тучи своих стрел, порой пестрые отряды поляков отчаянно лезли на стены, или, наоборот, казаки бурно кидались на приступ, чтобы отбить твердыню у завладевших ею королевских жолнеров... Теперь старые башни осыпались, стены кое-где заменились простым частоколом, защищавшим лишь монастырские огороды от нашествия предприимчивой мужицкой скотины, а в глубине широких рвов росло просо.

Однажды, в ясный день ласковой и поздней осени хозяева и гости отправились в этот монастырь. Максим и женщины ехали в широкой старинной коляске, качавшейся, точно большая ладья, на своих высоких рессорах. Молодые люди и Петр в том числе отправились верхами.

Слепой ездил ловко и свободно, привыкнув прислушиваться к топоту других коней и к шуршанию колес едущего впереди экипажа. Глядя на его свободную, смелую посадку, трудно было бы угадать, что этот всадник не видит дороги и лишь привык так смело отдаваться инстинкту лошади. Анна Михайловна сначала робко оглядывалась, боясь чужой лошади и незнакомых дорог, Максим посматривал искоса с гордостью ментора и с насмешкой мужчины над бабьими страхами.

— Знаете ли... — сказал, подъезжая к коляске, студент. — Мне вот сейчас вспомнилась очень интересная могила, историю которой мы узнали, роясь в монастырском архиве. Если хотите, мы свернем туда. Это недалеко, на краю села.

— Отчего же это вам приходят в нашем обществе такие грустные воспоминания? — весело засмеялась Эвелина.

— На этот вопрос ответчу после! Сворачивай к Колодне, к леваяде Остапа; тут у перелаза остановишься! — крикнул он кучеру и, повернув лошадь, поскакал к своим отставшим товарищам. <...>

— Мы только недавно узнали о существовании этого памятника, — сказал молодой Ставрченко, — а между тем знаете ли, кто лежит под ним? — Славный когда-то «лыцарь», старый ватажко Игнат Карый... <...>

— В этой истории, — продолжал молодой человек задумчиво, — есть еще другое лицо, хоть мы напрасно искали здесь другой плиты. Судя по старой записи, которую мы нашли в монастыре, рядом с Карым похоронен молодой бандурист... слепой, сопровождавший атамана в походах...

— Слепой? в походах? — испуганно произнесла Анна Михайловна, которой сейчас же представился ее мальчик в страшной ночной сече.

— Да, слепой. По-видимому, это был славный на Запорожье певец... так, по крайней мере, говорит о нем запись, излагающая на

своеобразном польско-малорусском-церковном языке всю эту историю. Позвольте, я, кажется, помню ее на память: «А с ним славенный поэт козацкий Юрко́, нигды не оставлявший Караго и от щирого сердца оным любимый. Которого убивши сила поганьская и того Юрка́ посекала нечество, обычаем своей поганьской веры не маючи зваги на калецтво и великий талант до складу песенного и до игры струнной, од яко и даже и волцы на степу размягчиться могли б, но поганьцы не пошановали в ночном нападе. И ту положены рядом певец и рыцарь, коим по честным конце незаводная и вечная слава во веки, аминь...»

— Плита довольно широкая, — сказал кто-то. — Может быть, они лежат здесь оба...

— Да, в самом деле, но надписи съедены мхами... Посмотрите, вот вверху булава и бунчук. А дальше все зелено от лишая.

— Пойдите, — сказал Петр, слушавший весь рассказ с захватывающим волнением.

Он подошел к плите, нагнулся над нею, и его тонкие пальцы впились в зеленый слой лишайников на поверхности плиты. Сквозь него он прощупывал твердые выступы камня.

Так он сидел с минуту, с поднятым лицом и сдвинутыми бровями. Потом он начал читать:

«...Игнатій прозванием Карій... року божого... пострелен из сайдака стрелою татарскою...»

— Это и мы могли еще разобрать, — сказал студент.

Пальцы слепого, нервно напряженные и изогнутые в суставах, спустились все ниже.

— «Которого убивши...»

— «Сила поганьская...» — живо подхватил студент, — эти слова стояли в описании смерти Юрка... значит, правда: и он тут же под одной плитой...

— Да, — «сила поганьская», — прочитал Петр, — дальше все исчезло... Пойдите, вот еще: «порубан шаблями татарскими»... кажется, еще какое-то слово... но нет, больше ничего не сохранилось.

Действительно, дальше всякая память о бандуристе терялась в широкой язве полуторастолетней плиты...

Несколько секунд стояло глубокое молчание, нарушаемое только шорохом листьев. Оно было прервано протяжным благоговейным вздохом. Это Остап, хозяин левады и собственник по праву давности последнего жилища старого атамана, подошел к господам и с великим удивлением смотрел, как молодой человек с неподвижными глазами, устремленными кверху, разбирал ощупью слова, скрытые от зрячих сотнями годов, дождями и непогодами.

— Сыла Господняя, — сказал он, глядя на Петра с благоговением. — Сыла Божая открывае сліпенькому, чего зрячий не бачуть очіма.

— Понимает ли теперь, панночка, почему мне вспомнился этот Юрко-бандурист? — спросил студент, когда старая коляска опять

тихо двигалась по пыльной дороге, направляясь к монастырю. — Мы с братом удивлялись, как мог слепой сопровождать Карого с его летучими отрядами. Допустим, что в то время он был уже не кошевой, а простой ватажко. Известно, однако, что он всегда начальствовал отрядом конных козаков-охотников, а не простыми гайдамаками. Обыкновенно бандуристы были старцы нищие, ходившие от села к селу с сумой и песней... Только сегодня, при взгляде на вашего Петра, в моем воображении как-то сразу встала фигура слепого Юрка, с бандурой, вместо рушницы, за спиной и верхом на лошади...

— И, может быть, он участвовал в битвах... В походах во всяком случае и в опасностях также... — продолжал молодой человек задумчиво. — Какие бывали времена на нашей Украине!

— Как это ужасно, — вздохнула Анна Михайловна.

— Как это было хорошо, — возразил молодой человек.

— Теперь ничего подобного не бывает, — резко сказал Петр, подъехавший тоже к экипажу. Подняв брови и насторожившись к топоту соседних лошадей, он заставил свою лошадь идти рядом с коляской... Его лицо было бледнее обыкновенного, выдавая глубокое внутреннее волнение... — Теперь все это уже исчезло, — повторил он.

— Что должно было исчезнуть — исчезло, — сказал Максим как-то холодно... — Они жили по-своему, вы ищите своего...

— Вам хорошо говорить, — ответил студент, — вы взяли свое у жизни...

— Ну, и жизнь взяла у меня мое, — усмехнулся старый гарибальдиец, глядя на свои костыли. <...>

Раз оставив свой обычный слегка насмешливый тон, Максим, очевидно, был расположен говорить серьезно. А для серьезного разговора на эту тему теперь уже не оставалось времени... Коляска подъехала к воротам монастыря, и студент, наклонясь, придержал за повод лошадь Петра, на лице которого, как в открытой книге, виднелось глубокое волнение.

III

В монастыре обыкновенно смотрели старинную церковь и взбирались на колокольню, откуда открывался далекий вид. В ясную погоду старались увидеть белые пятнышки губернского города и излучины Днепра на горизонте.

Солнце уже склонялось, когда маленькое общество подошло к запертой двери колокольни, оставив Максима на крыльце одной из монашеских келий. Молодой тонкий послушник, в рясе и остроконечной шапке, стоял под сводом, держась одной рукой за замок запертой двери... Невдалеке, точно распуганная стая птиц, стояла кучка детей; было видно, что между молодым послушником и этой стайкой резвых ребят происходило недавно какое-то столкновение. По его несколько воинственной позе и по тому, как он держался за замок, можно было заключить, что дети хотели

проникнуть на колокольню вслед за господами, а послушник отгонял их. Его лицо было сердито и бледно, только на щеках пятнами выделялся румянец.

— Глаза молодого послушника были как-то странно неподвижны... Анна Михайловна первая заметила выражение этого лица и глаз и нервно схватила за руку Эвелину.

— Слепой, — прошептала девушка с легким испугом.

— Тише, — ответила мать, — и еще... Ты замечаешь?

— Да...

Трудно было не заметить в лице послушника странного сходства с Петром. Та же нервная бледность, те же чистые, но неподвижные зрачки, то же беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке и бегавших над глазами, точно щупальцы у испуганного насекомого... Его черты были грубее, вся фигура угловатее, — но тем резче выступало сходство. Когда он глухо закаплялся, схватившись руками за впалую грудь, — Анна Михайловна смотрела на него широко раскрытыми глазами, точно перед ней вдруг появился призрак...

Перестав кашлять, он отпер дверь и, остановясь на пороге, спросил несколько надтреснутым голосом:

— Ребят нет? Кыш, проклятые! — мотнулся он в их сторону всем телом и потом, пропуская вперед молодых людей, сказал голосом, в котором слышалась какая-то вкрадчивость и жадность:

— Звонарю пожертвуете сколько-нибудь?.. Идите осторожно, — темно...

Все общество стало подыматься по ступеням. Анна Михайловна, которая прежде колебалась перед неудобным и крутым подъемом, теперь с какою-то покорностью пошла за другими.

Слепой звонарь запер дверь... Свет исчез, и лишь через некоторое время Анна Михайловна, робко стоявшая внизу, пока молодежь, толкаясь, подымалась по извилинам лестницы, — могла разглядеть тусклую струйку сумеречного света, лившуюся из какого-то косого пролета в толстой каменной кладке. Против этого луча слабо светилось несколько пыльных, неправильной формы камней.

— Дядько, дядюшка, пустить, — раздались из-за двери тонкие голоса детей. — Пустить, дядюшка, хороший.

Звонарь сердито кинулся к двери и неистово застучал кулаками по железной обшивке.

— Пошли, пошли, проклятые... Чтоб вас громом убило! — кричал он, хрипя и как-то захлебываясь от злости...

— Слепой черт, — ответили вдруг несколько звонких голосов, и за дверью раздался быстрый топот десятка босых ног...

Звонарь прислушался и перевел дух.

— Погибели на вас нет... на проклятых... чтоб вас всех передумала хвороба... Ох, Господи! Господи ты Боже мой! Вскую мя оставил еси... — сказал он вдруг совершенно другим голосом, в котором слышалось отчаяние исстрадавшегося и глубоко измученного человека.

– Кто здесь?... Зачем остался? – резко спросил он, наткнувшись на Анну Михайловну, застывшую у первых ступенек.

– Идите, идите. Ничего, – прибавил он мягче. – Постойте, держитесь за меня... Пожертвование с вашей стороны звонарю будет? – опять спросил он прежним неприятно вкрадчивым тоном.

Анна Михайловна вынула из кошелька и в темноте подала ему бумажку. Слепой быстро выхватил ее из протянутой к нему руки и, под тусклым лучом, к которому они уже успели подняться, она видела, как он приложил бумажку к щеке и стал водить по ней пальцем. Странно освещенное и бледное лицо, так похожее на лицо ее сына, исказилось вдруг выражением наивной и жадной радости.

– Вот за это спасибо, вот спасибо. Столбовка настоящая... Я думал – вы насмех... посмеяться над слепеньким... Другие, бывает, смеются...

Все лицо бедной женщины было залито слезами. Она быстро отерла их и пошла кверху, где, точно падение воды за стеной, слышались гулкие шаги и смешанные голоса опередившей ее компании.

На одном из поворотов молодые люди остановились. Они поднялись уже довольно высоко, и в узкое окно, вместе с более свежим воздухом, проникла более чистая, хотя и рассеянная струйка света. Под ней на стене, довольно гладкой в этом месте, роились какие-то надписи. Это были по большей части имена посетителей.

Обмениваясь веселыми замечаниями, молодые люди находили фамилии своих знакомых.

– А вот и сентенция, – заметил студент и прочитал с некоторым трудом: «Мнози суть начинающи, кончающи же в мале...» – Очевидно, дело идет об этом восхождении, – прибавил он шутливо.

– Понимай, как хочешь, – грубо ответил звонарь, поворачиваясь к нему ухом, и его брови заходили быстро и тревожно. – Тут еще стих есть, пониже. Вот бы тебе прочитать...

– Где стих? Нет никакого стиха.

– Ты вот знаешь, что нет, а я тебе говорю, что есть. От вас, зрячих, тоже сокрыто многое...

Он спустился на две ступеньки вниз и, пошарив рукой в темноте, где уже терялись последние слабые отблески дневного луча, сказал:

– Вот тут. Хороший стих, да без фонаря не прочтаете...

Петр поднялся к нему и, проведя рукой по стене, легко разыскал суровый афоризм, врезанный в стену каким-то, может быть более столетия уже умершим, человеком:

Помни смертный час,
Помни трубный глас,
Помни с жизнью разлуку,
Помни вечную муку...

— Тоже сентенция, — попробовал пошутить студент Ставрученко, но шутка как-то не вышла.

— Не нравится, — ехидно сказал звонарь. — Конечно, ты еще человек молодой, а тоже... кто знает. Смертный час приходит, якотать в ночи... — Хороший стих, — прибавил он опять как-то по-другому... — «Помни смертный час, помни трубный глас...» Да, что-то вот там будет, — закончил он опять довольно злобно.

Еще несколько ступеней, и они все вышли на первую площадку колокольни. Здесь было уже довольно высоко, но отверстие в стене вело еще более неудобным проходом выше. С последней площадки вид открылся широкий и восхитительный. Солнце склонилось на запад к горизонту, по низине легла длинная тень, на востоке лежала тяжелая туча, даль терялась в вечерней дымке, и только кое-где косые лучи выхватывали у синих теней то белую стену мазаной хатки, то загоревшееся рубином оконце, то живую искорку на кресте дальней колокольни.

Все притихли. Высокий ветер, чистый и свободный от испарений земли, тянулся в пролеты, шевеля веревки, и, заходя в самые колокола, вызывал по временам протяжные отголоски. Они тихо шумели глубоким металлическим шумом, за которым ухо ловило что-то еще, точно отдаленную невнятную музыку или глубокие вздохи меди. От всей расстилавшейся внизу картины веяло тихим спокойствием и глубоким миром.

Но тишина, водворившаяся среди небольшого общества, имела еще другую причину. По какому-то общему побуждению, вероятно вытекавшему из ощущения высоты и своей беспомощности, оба слепые подошли к углам пролетов и стали, опершись на них обеими руками, повернув лица навстречу тихому вечернему ветру.

Теперь ни от кого уже не ускользнуло странное сходство. Звонарь был несколько старше; широкая ряса висела складками на тощем теле, черты лица были грубее и резче. При внимательном взгляде в них проступали и различия: звонарь был блондин, нос у него был несколько горбатый, губы тоньше, чем у Петра. Над губами пробивались усы, и кудрявая бородка окаймляла подбородок. Но в жестах, в нервных складках губ, в постоянном движении бровей было то удивительное, как бы родственное сходство, вследствие которого многие горбуны тоже напоминают друг друга лицом, как братья.

Лицо Петра было несколько спокойнее. В нем виднелась привычная грусть, которая у звонаря усиливалось острою желчностью и порой озлоблением. Впрочем, теперь и он, видимо, успокаивался. Ровное веяние ветра как бы разглаживало на его лице все морщины, разливая по нем тихий мир, лежавший на всей скрытой от незрячих взоров картине... Брови шевелились все тише и тише.

Но вот они опять дрогнули одновременно у обоих, как будто оба слышали внизу какой-то звук из долины, не слышный никому другому.

– Звонят, – сказал Петр.

– Это у Егорья за пятнадцать верст, – пояснил звонарь. – У них всегда на полчаса раньше нашего вечера... А ты слышишь? Я тоже слышу, – другие не слышат...

– Хорошо тут, – продолжал он мечтательно. – Особенно в праздник. Слышали вы, как я звоню?

В вопросе звучало наивное тщеславие.

– Приезжайте послушать. Отец Памфилий... Вы не знаете отца Памфилия? Он для меня нарочно эти два подголоска выписал.

Он отделился от стены и любовно погладил рукой два небольших колокола, еще не успевших потемнеть, как другие.

– Славные подголоски... Так тебе и поют, так и поют... Особенно под Пасху.

Он взял в руки веревки и быстрыми движениями пальцев заставил задрожать оба колокола мелко мелодическою дробью; прикосновения языков были так слабы и вместе так отчетливы, что перезвон был слышен всем, но звук, наверное, не распространялся дальше площадки колокольной.

– А тут тебе вот этот – бу-ух, бу-ух, бу-ух...

Теперь его лицо осветилось детской радостью, в которой, однако, было что-то жалкое и больное.

– Колокола-то вот выписал, – сказал он со вздохом, – а шубу новую не сошьет. Скупой! Простыл я на колокольной... Осенью всего хуже... Холодно...

Он остановился и, прислушавшись, сказал:

– Хромой вас кличет снизу. Ступайте, пора вам.

– Пойдем, – первая поднялась Эвелина, до тех пор неподвижно глядевшая на звонаря, точно завороченная.

Молодые люди двинулись к выходу, звонарь остался наверху. Петр, шагнувший было вслед за матерью, круто остановился.

– Идите, – сказал он ей повелительно. – Я сейчас.

Шаги стихли, только Эвелина, пропустившая вперед Анну Михайловну, осталась, прижавшись к стене и затаив дыхание.

Слепые считали себя одинокими на вышке. Несколько секунд они стояли, неловкие и неподвижные, к чему-то прислушиваясь.

– Кто здесь? – спросил затем звонарь.

– Я...

– Ты тоже слепой?

– Слепой. А ты давно ослеп? – спросил Петр.

– Родился таким, – ответил звонарь. – Вот другой есть у нас, Роман – тот семи лет ослеп... А ты ночь ото дня отличать можешь ли?

– Могу.

– И я могу. Чувствую, брезжит. Роман не может, а ему все-таки легче.

– Почему легче? – живо спросил Петр.

– Почему? Не знаешь почему? Он свет видал, свою матку помнит. Понял ты: заснет ночью, она к нему во сне и приходит...

Только она старая теперь, а снится ему все молодая... А тебе снится ли?

– Нет, – глухо ответил Петр.

– То-то нет. Это дело бывает, когда кто ослеп. А кто уж так родился!..

Петр стоял сумрачный и потемневший, точно на лицо его навинулась туча. Брови звонаря тоже вдруг поднялись высоко над глазами, в которых виднелось так знакомое Эвелине выражение слепого страдания...

– И то согрешаешь не однажды... Господи, Создателю, Божья Матерь, Пречистая!.. Дайте вы мне хоть во сне один раз свет-радость увидеть...

Лицо его передернулось судорогой, и он сказал с прежним желчным выражением:

– Так нет, не дают... Приснится что-то, забрезжит, а встанешь, не помнишь...

Он вдруг остановился и прислушался. Лицо его побледнело, и какое-то судорожное выражение исказило все черты.

– Чертенят впустили, – сказал он со злостью в голосе. Действительно, снизу из узкого прохода, точно шум наводнения, неслись шаги и крики детей. На одно мгновение все стихло, вероятно, толпа выбежала на среднюю площадку, и шум выливался наружу. Но затем темный проход загудел, как труба, и мимо Эвелины, перегоняя друг друга, пронеслась веселая гурьба детей. У верхней ступеньки они остановились на мгновение, но затем один за другим стали шмыгать мимо слепого звонаря, который с искаженным от злобы лицом совал наудачу сжатыми кулаками, стараясь попасть в кого-нибудь из бежавших.

В проходе вынырнуло вдруг из темноты новое лицо. Это был, очевидно, Роман. Лицо его было широко, изрыто оспой и чрезвычайно добродушно. Закрытые веки скрывали впадины глаз, на губах играла добродушная улыбка. Пройдя мимо прижавшейся к стене девушки, он поднялся на площадку. Размахнувшись рука его товарища попала ему сбоку в шею.

– Брат! – окликнул он приятным, грудным голосом. – Егорий, – опять воюешь?

Они столкнулись и ощупали друг друга.

– Зачем бісенят впустив? – спросил Егорий по-малорусски, все еще со злостью в голосе.

– Нехай собі, – благодушно ответил Роман... – Пташки божіи. Ось як ты их налякав. Де вы тут, бісенята...

Дети сидели по углам у решеток, притаившись, и их глаза сверкали лукавством, а отчасти страхом.

Эвелина, неслышно ступая в темноте, сошла уже до половины первого прохода, когда за ней раздались уверенные шаги обоих слепых, а сверху донесся радостный визг и крики ребят, кинувшихся целою стаей на оставшегося с ними Романа.

Компания тихо выезжала из монастырских ворот, когда с колокольни раздался первый удар. Это Роман зазвонил к вечерне.

Солнце село, коляска катилась по потемневшим полям, провожаемая ровными меланхолическими ударами, замиравшими в синих сумерках вечера.

Все молчали всю дорогу до самого дома. Вечером долго не было видно Петра. Он сидел где-то в темном углу сада, не откликаясь на призывы даже Эвелины, и прошел ощупью в комнату, когда все легли... <...>

VIII

Подошла весна. Верстах в шестидесяти от усадьбы Попельских в сторону, противоположную от Ставрученков, в небольшом городишке была чудотворная католическая икона. Знайки дела определили с полной точностью ее чудодейственную силу: всякий, кто приходил к иконе в день ее праздника пешком, пользовался «двадцатью днями отпущения», то есть все его беззакония, совершенные в течение двадцати дней, должны были идти на том свете насмарку. Поэтому каждый год, ранней весной, в известный день небольшой городок оживлялся и становился неузнаваем. Старая церковка принаряжалась к своему празднику первою зеленью и первыми весенними цветами, над городом стоял радостный звон колокола, грохотали «брички» панов, и богомольцы располагались густыми толпами по улицам, на площадях и даже далеко в поле. Тут были не одни католики. Слава N-ской иконы гремела далеко, и к ней приходили также недугующие и огорченные православные, преимущественно из городского класса.

В самый день праздника по обе стороны «каплицы» народ вытянулся по дороге несметною пестрою вереницей. Тому, кто посмотрел бы на это зрелище с вершины одного из холмов, окружавших местечко, могло бы показаться, что это гигантский зверь растянулся по дороге около часовни и лежит тут неподвижно, по временам только пошевеливая матовою чешуей разных цветов. По обеим сторонам занятой народом дороги в два ряда вытянулось целое полчище нищих, протягивавших руки за подаванием.

Максим на своих костылях и рядом с ним Петр об руку с Иохимом тихо двигались вдоль улицы, которая вела к выходу в поле. <...>

Петр рассеянно прислушивался к этому живому шуму, послушно следуя за Максимом; он то и дело запахивал пальто, так как было холодно, и продолжал на ходу ворочать в голове свои тяжелые мысли.

Но вдруг, среди этой эгоистической сосредоточенности, что-то поразило его внимание так сильно, что он вздрогнул и внезапно остановился.



Рембрандт. Нищие

Последние ряды городских зданий кончились здесь, и широкая трактовая дорога входила в город среди заборов и пустырей. У самого выхода в поле благочестивые руки воздвигли когда-то каменный столб с иконой и фонарем, который, впрочем, скрипел только вверху от ветра, но никогда не зажигался. У самого подножия этого столба расположились кучкой слепые нищие, оттертые своими зрячими конкурентами с более выгодных мест. Они сидели с деревянными чашками в руках и по временам кто-нибудь затягивал жалобную песню:

– Под-дайте сліпеньким... ра-а-ди Христа...

День был холодный, нищие сидели здесь с утра, открытые свежему ветру, налетавшему с поля. Они не могли двигаться среди этой толпы, чтобы согреться, и в их голосах, тянувших по очереди унылую песню, слышалась безотчетная жалоба физического страдания и полной беспомощности. Первые ноты слышались еще довольно отчетливо, но затем из сдавленных грудей вырывался только жалобный ропот, замиравший тихой дрожью озноба. Тем не менее даже последние, самые тихие звуки песни, почти терявшиеся среди уличного шума, достигая человеческого слуха, поражали всякого громадностью заключенного в них непосредственного страдания.

Петр остановился, и его лицо исказилось, точно какой-то слуховой призрак явился перед ним в виде этого страдальческого вопля.

– Что же ты испугался? – спросил Максим. – Это те самые счастливы, которым ты недавно завидовал, – слепые нищие, которые просят здесь милостыню... Им немного холодно, конечно. Но ведь от этого, по-твоему, им только лучше.

– Уйдем! – сказал Петр, хватая его за руку.

– А, ты хочешь уйти! У тебя в душе не найдется другого побуждения при виде чужих страданий! Постой, я хочу поговорить с тобой серьезно и рад, что это будет именно здесь. Ты вот сердись-ся, что времена изменились, что теперь слепых не рубят в ночных

сечах, как Юрка-бандуриста; ты досадуешь, что тебе некого проклинать, как Егору, а сам проклинаешь в душе своих близких за то, что они отняли у тебя счастливую долю этих слепых. Клянусь честью, ты, может быть, прав! Да, клянусь честью старого солдата, всякий человек имеет право располагать своей судьбой, а ты уже человек. Слушай же теперь, что я скажу тебе: если ты захочешь исправить нашу ошибку, если ты швырнешь судьбе в глаза все преимущества, которыми жизнь окружила тебя с колыбели, и захочешь испытать участь вот этих несчастных... я, Максим Яценко, обещаю тебе свое уважение, помощь и содействие... Слышишь ты меня, Петр Яценко? Я был немногим старше тебя, когда понес свою голову в огонь и сечу... Обо мне тоже плакала мать, как будет плакать о тебе. Но, черт возьми! я полагаю, что был в своем праве, как и ты теперь в своем!.. Раз в жизни к каждому человеку приходит судьба и говорит: выбирай! Итак, тебе стоит захотеть... Хведор Кандыба, ты здесь? – крикнул он по направлению к слепым.

Один голос отделился от скрипучего хора и ответил:

– Тут я... Это вы кличете, Максим Михайлович?

– Я! Приходи через неделю, куда я сказал.

– Приду, паночку. – И голос слепца опять примкнул к хору.

– Вот, ты увидишь человека, – сказал, сверкая глазами, Максим, – который вправе роптать на судьбу и на людей. Поучись у него переносить свою долю... А ты...

– Пойдем, паничу, – сказал Иохим, кидая на старика сердитый взгляд.

– Нет, постой! – гневно крикнул Максим. – Никто еще не прошел мимо слепых, не кинув им хоть пятака. Неужели ты убежишь, не сделав даже этого? Ты умеешь только кощунствовать со своею сытою завистью к чужому голоду!..

Петр поднял голову, точно от удара кнутом. Вынув из кармана свой кошелек, он пошел по направлению к слепым. Нащупав палкою переднего, он разыскал рукой деревянную чашку с медью и бережно положил туда свои деньги. Несколько прохожих остановились и смотрели с удивлением на богато одетого и красивого панича, который ощупью подавал милостыню слепому, принимавшему ее также ощупью. <...>

В этот вечер Максим опять долго говорил с Петром наедине. После этого проходили недели, и настроение слепого оставалось все тем же. Казалось, слишком острое и эгоистическое сознание личного горя, вносившее в душу пассивность и угнетавшее врожденную энергию, теперь дрогнуло и уступило место чему-то другому. Он опять ставил себе цели, строил планы; жизнь зарождалась в нем, надломленная душа давала побег, как захиревшее деревцо, на которое весна пахнула живительным дыханием... Было, между прочим, решено, что еще этим летом Петр поедет в Киев, чтобы с осени начать уроки у известного пианиста. При этом оба они с Максимом настояли, что они поедут только вдвоем.

Теплою июльской ночью бричка, запряженная парой лошадей, остановилась на ночлег в поле, у опушки леса. Утром, на самой заре, двое слепых прошли шляхом. Один вертел рукоятку примитивного инструмента: деревянный валик кружился в отверстии пустого ящика и терся о туго натянутые струны, издававшие однотонное и печальное жужжание. Несколько гнусавый, но приятный старческий голос пел утреннюю молитву.

Проезжавшие дорогой хохлы с таранью видели, как слепцов подозвали к бричке, около которой, на разостланном ковре, сидели ночевавшие в степи господа. Когда через некоторое время обозчики остановились на водопой у криницы, то мимо них опять прошли слепцы, но на этот раз их уже было трое. Впереди, постукивая перед собою длинной палкой, шел старик с развевающимися седыми волосами и длинными белыми усами. Лоб его был покрыт старыми язвами, как будто от ожога; вместо глаз были только впадины. Через плечо у него была надета широкая тесьма, привязанная к поясу следующего. Второй был рослый детина, с желчным лицом, сильно изрытым оспой. Оба они шли привычным шагом, подняв незрячие лица кверху, как будто разыскивая там свою дорогу. Третий был совсем юноша, в новой крестьянской одежде, с бледным и как будто слегка испуганным лицом; его шаги были неуверенны, и по временам он останавливался, как будто прислушиваясь к чему-то назади и мешая движению товарищей.

Часам к десяти они ушли далеко. Лес остался синей полосой на горизонте. Кругом была степь, и впереди слышался звон разогреваемой солнцем проволоки на шоссе, пересекавшем пыльный шлях. Слепцы вышли на него и повернули вправо, когда сзади послышался топот лошадей и сухой стук кованых колес по щебню. Слепцы выстроились у края дороги. Опять зажужжало деревянное колесо по струнам, и старческий голос затянул:

— Под-дайте слі-пеньким... — К жужжанию колеса присоединился тихий перебор струн под пальцами юноши.

Монета зазвенела у самых ног старого Кандыбы. Стук колес смолк, видимо, проезжающие остановились, чтобы посмотреть, найдут ли слепые монету. Кандыба сразу нашел ее, и на лице появилось довольное выражение.

— Бог спасет, — сказал он по направлению к бричке, в сиденье которой виднелась квадратная фигура седого господина, и два костыля торчали сбоку.

Старик внимательно смотрел на юношу-слепца... Тот стоял бледный, но уже успокоившийся. При первых же звуках песни его руки нервно забегали по струнам, как будто покрывая их звоном ее резкие ноты... Бричка опять тронулась, но старик долго оглядывался назад.

Вскоре стук колес замолк в отдалении. Слепцы опять вытянулись в линию и пошли по шоссе...

— У тебя, Юрий, легкая рука, — сказал старик. — И играешь славно... Через несколько минут средний слепец спросил:

— По обещанию идешь в Почаев?... Для Бога?

— Да, — тихо ответил юноша.

— Думаешь, прозришь?... — спросил тот опять с горькой улыбкой...

— Бывает, — мягко сказал старик.

— Давно хожу, а не встречал, — угрюмо возразил рябой, и они опять пошли молча. Солнце подымалось все выше, виднелась только белая линия шоссе, прямого как стрела, темные фигуры слепых и впереди черная точка проехавшего экипажа. Затем дорога разделилась. Бричка направилась к Киеву, слепцы опять свернули проселками на Почаев.

Вскоре из Киева пришло в усадьбу письмо от Максима. Он писал, что оба они здоровы и что все устраивается хорошо.

А в это время трое слепых двигались все дальше. Теперь все шли уже согласно. Впереди, все так же постукивая палкой, шел Кандыба, отлично знавший дороги и поспевавший в большие села к праздникам и базарам. Народ собирался на стройные звуки маленького оркестра, и в шапке Кандыбы то и дело звякали монеты.

Волнение и испуг на лице юноши давно исчезли, уступая место другому выражению. С каждым новым шагом навстречу ему лились новые звуки неведомого, широкого, необъятного мира, сменившего теперь ленивый и убаюкивающий шорох тихой усадьбы... Незрячие глаза расширялись, ширилась грудь, слух еще обострялся; он узнавал своих спутников, добродушного Кандыбу и желчного Кузьму, долго брел за скрипучими возами чумаков, ночевал в степи у огней, слушал гомон ярмарок и базаров, узнавал горе, слепое и зрячее, от которого не раз больно сжималось его сердце... И странное дело — теперь он находил в своей душе место для всех этих ощущений. Он совершенно одолел песню слепых, и день за днем под гул этого великого моря все более стихали на дне души личные порывания к невозможному...

Чуткая память ловила всякую новую песню и мелодию, а когда дорогой он начинал перебирать свои струны, то даже на лице желчного Кузьмы появлялось спокойное умиление. По мере приближения к Почаеву банда слепых все росла.

Позднею осенью, по дороге, занесенной снегами, к великому удивлению всех в усадьбе, панич неожиданно вернулся с двумя слепцами в нищенской одежде. Кругом говорили, что он ходил в Почаев по обету, чтобы вымолить у Почаевской Богородицы исцеление.



Впрочем, глаза его оставались по-прежнему чистыми и по-прежнему незрячими. Но душа, несомненно, исцелилась. Как будто страшный кошмар навсегда исчез из усадьбы... Когда Максим, продолжавший писать из Киева, наконец вернулся тоже, Анна Михайловна встретила его фразой: «Я никогда, никогда не прощу тебе этого». Но лицо ее противоречило суровым словам...

Долгими вечерами Петр рассказывал о своих странствиях, и в сумерки фортепиано звучало новыми мелодиями, каких никто не слышал у него раньше... Поездка в Киев была отложена на год, вся семья жила надеждами и планами Петра...

Из главы седьмой

I

В ту же осень Эвелина объявила старикам Яскульским свое неизменное решение выйти за слепого «из усадьбы». Старушка мать заплакала, а отец, помолившись перед иконами, объявил, что, по его мнению, именно такова воля Божия относительно данного случая.

Сыграли свадьбу. Для Петра началось молодое тихое счастье, но сквозь это счастье все же пробивалась какая-то тревога: в самые светлые минуты он улыбался так, что сквозь эту улыбку виднелось грустное сомнение, как будто он не считал этого счастья законным и прочным. Когда же ему сообщили, что, быть может, он станет отцом, он встретил это сообщение с выражением испуга.

<...>

II

В той самой комнате, где некогда родился Петр, стояла тишина, среди которой раздавался только всхлипывающий плач ребенка. Со времени его рождения прошло уже несколько дней, и Эвелина быстро поправлялась. Но зато Петр все эти дни казался подавленным сознанием какого-то близкого несчастья.

Приехал доктор. Взяв ребенка на руки, он перенес и уложил его поближе к окну. Быстро отдернув занавеску, он пропустил в комнату луч яркого света и наклонился над мальчиком с своими инструментами. Петр сидел тут же с опущенной головой, все такой же подавленный и безучастный. Казалось, он не придавал действиям доктора ни малейшего значения, предвидя вперед результаты.

— Он, наверное, слеп, — твердил он. — Ему не следовало бы родиться.

Молодой доктор не отвечал и молча продолжал свои наблюдения. Наконец он положил офтальмоскоп, и в комнате раздался его уверенный, спокойный голос:

— Зрачок сокращается. Ребенок видит несомненно.

Петр вздрогнул и быстро стал на ноги. Это движение показывало, что он слышал слова доктора, но, судя по выражению его лица, он как будто не понял их значения. Опершись дрожащею рукой на подоконник, он застыл на месте с бледным, приподнятым кверху лицом и неподвижными чертами.

До этой минуты он находился в состоянии странного возбуждения. Он будто не чувствовал себя, но вместе с тем все фибры в нем жили и трепетали от ожидания.

Он сознавал темноту, которая его окружала. Он ее выделил, чувствовал ее вне себя, во всей ее необъятности. Она надвигалась на него; он охватывал ее воображением, как будто меряясь с нею. Он вставал ей навстречу, желая защитить своего ребенка от этого необъятного, колеблющегося океана непроницаемой тьмы.

И пока доктор в молчании делал свои приготовления, он все находился в этом состоянии. Он боялся и прежде, но прежде в его душе жили еще признаки надежды. Теперь страх, томительный и ужасный, достиг крайнего напряжения, овладев возбужденными до последней степени нервами, а надежда замерла, скрывшись где-то в глубоких тайниках его сердца. И вдруг эти два слова: «ребенок видит!» — перевернули его настроение. Страх мгновенно схлынул, надежда также мгновенно превратилась в уверенность, осветив чутко приподнятый душевный строй слепого. Это был внезапный поворот, настоящий удар, ворвавшийся в темную душу поражающим, ярким, как молния, лучом. Два слова доктора будто прожгли в его мозгу огненную дорогу... Будто искра вспыхнула где-то внутри и осветила последние тайники его организма... Все в нем дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит тугая натянутая струна под внезапным ударом.

И вслед за этой молнией перед его потухшими еще до рождения глазами вдруг зажглись странные призраки. Были ли это лучи или звуки, он не отдавал себе отчета. Это были звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода, они катились, как яркое солнце по небу, они волновались, как волнуется шепот и шелест зеленой степи, они качались, как ветви задумчивых буков.

Это было только первое мгновение, и только смешанные ощущения этого мгновения остались у него в памяти. Все остальное он впоследствии забыл. Он только упорно утверждал, что в эти несколько мгновений он видел.

Что именно он видел, и как видел, и видел ли действительно, — осталось совершенно неизвестным. Многие говорили ему, что это невозможно, но он стоял на своем, уверяя, что видел небо и землю, мать, жену и Максима.

В течение нескольких секунд он стоял с приподнятым кверху и просветлевшим лицом. Он был так странен, что все невольно обратились к нему, и кругом все смолкло. <...>

— Что с тобой? — спросила мать встревоженным голосом.

— Ничего... мне кажется, что я... видел вас всех. Я ведь... не сплю?

— А теперь? — взволнованно спросила она. — Помнишь ли ты, будешь ли помнить?

Слепой глубоко вздохнул.

— Нет, — ответил он с усилием. — Но это ничего, потому что... Я отдал все это... ему... ребенку и... и всем...

Он пошатнулся и потерял сознание. Его лицо побледнело, но на нем все еще блуждал отблеск радостного удовлетворения.

Эпилог

Прошло три года. Многочисленная публика собралась в Киеве, во время «Контрактов»¹, слушать оригинального музыканта. Он был слеп, но молва передавала чудеса об его музыкальном таланте и о его личной судьбе. Говорили, будто в детстве он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с которыми бродил, пока известный профессор не обратил внимания на его замечательный музыкальный талант. Другие передавали, что он сам ушел из семьи к нищим из каких-то романтических побуждений. Как бы то ни было, контрактная зала была набита битком, и сбор (имевший неизвестное публике благотворительное назначение) был полный.

В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с красивыми большими глазами и бледным лицом. Никто не признал бы его слепым, если б эти глаза не были так неподвижны и если б его не вела молодая белокурая дама, как говорили, жена музыканта.

— Немудрено, что он производит такое потрясающее впечатление, — говорил в толпе какой-то зоил² своему соседу. — У него замечательно драматическая наружность.

Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и неподвижные глаза, и вся его фигура предрасполагали к чему-то особенному, непривычному.

Южно-русская публика вообще любит и ценит свои родные мелодии, но здесь даже разношерстная «контрактовая» толпа была сразу захвачена глубокой искренностью выражения. Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струей, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевым грустным напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, навевая смутные грезы о минувшем.

Когда он смолк, гром рукоплесканий охваченной восторгом толпы наполнил громадную залу. Слепой сидел с опущенною го-

¹ Напомним, что «Контрактами» называют киевскую ярмарку. (Примеч. авт.)

² Зоил — от имени древнего осуждателя Гомера, злой, желчный, завистливый критик.

ловой, удивленно прислушиваясь к этому грохоту. Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам. Многолюдная зала мгновенно притихла.

В эту минуту вошел Максим. Он внимательно оглядел эту толпу, охваченную одним чувством, направившую на слепого жадные, горящие взгляды.

Старик слушал и ждал. Он, больше чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму этих звуков. Ему казалось, что эта могучая импровизация, так свободно льющаяся из души музыканта, вдруг оборвется, как прежде, тревожным, болезненным вопросом, который откроет новую рану в душе его слепого питомца. Но звуки росли, крепили, полнели, становились все более и более властными, захватывали сердце объединенной и замиравшей толпы.

И чем больше прислушивался Максим, тем яснее звучал для него в игре слепого знакомый мотив.

Да, это она, шумная улица. Светлая, гремучая, полная жизни волна катится, дробясь, сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает опять к отдаленному, но неумолчному рокоту, оставаясь все время спокойной, красиво-бесстрастной, холодной и безучастной.

И вдруг сердце Максима упало. Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон.

Вырвался, прозвенел и замер. И опять живой рокот, все ярче и сильнее, сверкающий и подвижный, счастливый и светлый.

Это уже не одни стоны личного горя, не одно слепое страдание. На глазах старика появились слезы. Слезы были и на глазах его соседей.

«Он прозрел, да, это правда, — он прозрел», — думал Максим.

Среди яркой и оживленной мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и как он, беззаботной среди пестрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то величавого напева народной песни все чаще, все настойчивее и сильнее прорывалась какая-то за душу хватающая нота.

«Так, так, мой мальчик, — мысленно ободрял Максим, — настигай их среди веселья и счастья...»

Через минуту над заколдованной толпой в огромной зале, властная и захватывающая, стояла уже одна только песня слепых...

— Подайте слепеньким... р-ради Христа.

Но это уже была не просьба о милостыне и не жалкий вопль, заглушаемый шумом улицы. В ней было все то, что было и прежде, когда под ее влиянием лицо Петра искажалось и он бежал от фортепиано, не в силах бороться с ее разъедающей болью. Теперь он одолел ее в своей душе и побеждал души этой толпы глубиной и ужасом жизненной правды... Это была тьма на фоне яркого света, напоминание о горе среди полноты счастливой жизни...

Казалось, будто удар разразился над толпой, и каждое сердце дрожало, как будто он касался его своими быстро бегающими руками. Он давно уже смолк, но толпа хранила гробовое молчание.

Максим опустил голову и думал:

«Да, он прозрел... На место слепого и неутолимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных...»

И старый солдат все ниже опускал голову. Вот и он сделал свое дело, и он недаром прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой.....

.....
Так дебютировал слепой музыкант.

1887–1895



1. Как бы ты сформулировал главную мысль повести «Слепой музыкант»?
2. Как познавал мир Петр? Чем это познание отличалось от познания зрячего человека?
3. Какую роль в жизни Петра сыграла история Юрка-бандуриста?
4. Как ты понял смысл сцены встречи Петра с двумя слепыми на колокольне монастыря?
5. Для чего дядя Максим отправляет Петра в странствие с двумя нищими слепцами? Что вынес Петр из этих скитаний? Какой смысл вкладывает автор в слова «душа его была исцелена»?
6. Почему Петр говорит, что он «на мгновение прозрел», узнав, что его ребенок видит? В чем смысл этой сцены?
7. «Да, он прозрел...», – думает дядя Максим, слушая игру Петра. Какой смысл вкладывает он в эти слова? Почему игра слепого музыканта так захватила слушателей? Определи роль эпилога в тексте.
8. Какие мысли вложены автором в образы Петра, дяди Максима, Эвелины? Какие чувства вызвали у тебя эти герои?
9. Что такое «истинная слепота»?
- (П) 10. Есть ли что-то общее в рассказе В.Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки» и повести «Слепой музыкант» В.Г. Короленко?
- (П) 11. Не находишь ли ты что-то общее в судьбе М. Горького и героя повести В.Г. Короленко? Сопоставь время написания «Слепого музыканта» с датами событий в биографии Горького.



Коля Дмитриев

Л.А. Кассиль

Ранний восход

(главы)

Часть II

Глава 4

Свет и тьма

Колю приняли в Городскую Художественную школу.

С ним занимался теперь художник-педагог Михаил Семенович Перуцкий – высокий, рыжеватый, очень скромный, даже застенчивый на вид. Он говорил негромко, избегал резких слов, но все же после добродушного, привычно ласкового Сергея Николаевича новый педагог показался Коле очень строгим и требовательным. Вот, например, Колю всегда прежде хвалили за рисунок, а Михаил Семенович нашел и по этой части немало погрешностей. Кое-что Коле пришлось начинать чуть ли не с азов.

«Надо поставить рисунок как следует», – тихо, спокойно, не повышая голоса, говорил Перуцкий, и Коля чувствовал, что он впервые проходит такую суровую школу. Перуцкий мягко, но настойчиво потребовал, чтобы Коля полностью усвоил твердые правила и основы рисунка.

Он не терпел ловких, но малоправдивых эффектов, требовал от Коли и других учеников, чтобы все в рисунке подчинялось точно рассмотренным и глубоко понятным связям. Он любил приводить притчу о старом скульпторе, который ваял статую для ниши в храме:

«Его спросили: „Мастер, зачем вы так тщательно обрабатываете фигуру сзади? Ведь она будет стоять в нише, так никто ту сторону не увидит“. – „Бог увидит“, – отвечал мастер, ибо он постиг законы искусства и законы форм, понимал их взаимосвязь и знал, что даже скрытая от глаз нерадивость или ложь скажутся где-то погрешностью уже видимой...»

Тут Коля услышал снова имя Павла Петровича Чистякова, о котором рассказал ему в первый раз профессор Гайбуров. Чтобы приобщить Колю к рисунку, заинтересовать его по-настоящему, Михаил Семенович приносил в класс книги о Чистякове, читал вслух наиболее понятные и важные места из знаменитых, как оказалось – известных всем художникам, заветов Чистякова. Кое-что Коля даже записал себе в тетрадочку, которую он завел теперь, чтобы заносить туда высказывания знаменитых художни-

ков об искусстве. И первой записью в этой тетрадке было правило Чистякова, услышанное им от Перуцкого:

«Рисовать – это значит соображать».

«Рисовать – это значит рассуждать».

– <...> Коля теперь жадно, много читал, брал книги в библиотеке и у Перуцкого. Не все еще он мог до конца понять и охватить, но он радовался, как встрече с добрым другом, если вдруг находил в книжке Репина упоминание о Чистякове, как о «велемудром жреце живописи».

Тщательно вписывал он в свою тетрадку¹:

«Рисунок – это источник и душа всех видов изображения и корень каждой науки. Кто достиг столь великого, что он овладел рисунком, тому говорю я, что он владеет драгоценнейшим сокровищем.

Микеланджело».

«Заметь, что самый совершенный руководитель, ведущий через триумфальные ворота к искусству, – это рисование с натуры. Это важнее всех образцов: доверяйся ему всегда с горячим сердцем, особенно когда приобретешь некоторые чувства рисунка.

Ченнино Ченнини».



«Старайся прежде всего рисунком передать в ясной для глаз форме намерение и изображение, созданное в твоём воображении. И делай так, чтобы в отношении размера и величины, подчиненных перспективе, в произведение не попало ничего такого, что не было бы как следует обсуждено в соответствии с разумом и явлениями природы. И это будет для тебя путем сделаться почитаемым в твоём искусстве.

Леонардо да Винчи».

«Краска занимает меня всегда, но рисунок является моей постоянной заботой.

Делакруа».

И Коля вчитывался в книги, всегда узнавая что-нибудь новое или укрепляясь в ранее узнанном, но требующем проверки. <...>

Коля с нетерпением ждал, когда же кончится война, снова откроют Третьяковскую галерею и он наконец увидит подлинники всех тех прославленных картин, которые он давно уже знал заочно наизусть.

¹ Выписки взяты из подлинной тетрадки Коли Дмитриева. Тексты всех писем, документов и дневников, помещенные далее, также приведены по подлинникам. (Примеч. авт.)

На страницах 147, 157–161 помещены подлинные рисунки Коли Дмитриева.



Иной раз приходил Коля домой из художественной школы весь красный, взъерошенный, смущенно поведивший и часто моргавший своими ясными голубыми глазами. И тогда его спрашивали дома:

— Что? Опять влетело?

А он виновато кивал головой:

— Было мне сегодня...

Но это не отбивало у него охоты и вкуса к рисованию.

Сейчас это его еще больше раззадоривало. И с жадным упрямством он снова принимался рисовать. Нелегко бывало иногда отказать от игры во дворе и сидеть дома, когда под окнами бухал мяч, а Женьча, который уже давно поступил в ремесленное училище и даже немножко подрабатывал, разгулявшись, щедро угощал во дворе мальчишек ирисками, звал всех в кино на его, Женьчи Стриганова, собственный счет... Но Коля не шел. Коля работал. Сладость манящей впереди цели была даже в эти минуты повелительнее, чем все посулы легких радостей, которые доносились со двора. Это стало уже долгом. И он п о т е л. Так это дома и называлось: «Ну, пойди попотей немножко».

Вечером мама, вернувшись с работы, так и спрашивала: «А ты сегодня потел?» И Коля удовлетворенно отвечал: «Еще как!»

Но вот неожиданно пришла беда: заболел отец. Федор Николаевич давно уже чувствовал недомогание, резь и потемнение в глазах. А тут он еще простудился, заболел гриппом, и болезнь дала страшные и неожиданные осложнения. Как-то утром, когда все уже поднялись, папа сел на кровати и вдруг непривычно громко спросил:

— Что случилось? Который час? Почему вы поднялись среди ночи все? И зажгите хоть свет... Наташа! Коля! Катя! В чем дело?

Наталья Николаевна кинулась к мужу, взяла его ладонями за виски, заглянула близко в лицо.

Коля понял: папа ослеп.

Врачи утешали, что это временное явление: сами по себе глаза в порядке и зрение, надо думать, вернется. Но Коля с тоскливым ужасом всматривался в лицо отца, в его знакомые, но теперь незрячие, потерявшие прежнее выражение глаза и просиживал часами возле его постели.

А болезнь затянулась. Страшно было подумать Коле, что отец уже никогда не посмотрит на его рисунки. И само рисование вдруг показалось Коле теперь бессмысленным, никчемным. Ведь папа всегда был самым лучшим зрителем и советчиком! Стоит ли вообще теперь заниматься всем этим? И Коля раза два уже пропустил занятия в художественной школе.

Должно быть, узнали про беду у Стригановых. Женьча пришел вечером в субботу, потоптался, потом поманил Колю в переднюю:

— Слышь, Коля... Только ты давай по-простому, знаешь, чтобы

без всяких там извольте-позвольте да извини-подвинься... Ладно, Коля? Условились?

— А в чем дело? — насторожился Коля.

Тогда Женьча, неловко откашлявшись, протянул ему руку, разжал ее — на широкой ладони его, плохо отмытой, с вьевшимся металлическим порошком, лежали скомканные десятирублевые бумажки.

— Может, возьмешь? У меня как раз получка. А тебе на красочки пригодится. Ведь вам сейчас туго. А, Коля? Ты не думай, я и папане сказал. Он говорит: правильно поступаешь. Ты бери, бери. С отцом пройдет все, тогда отдашь, не сомневайся. Торопить не стану.

Коля взял его за руку, медленно, но настойчиво загнул ему пальцы, придавил их крепко к ладони поверх денег:

— Спасибо тебе, Женья... Надо будет — попрошу...

Как-то Наталья Николаевна, усталая, изглоданная тревогой и сама чувствуя нездоровье, долго смотрела на Колю и Катюшку, готовивших школьные уроки.

Федор Николаевич спал. В комнате было очень тихо. И жгучая тревога за детей вдруг проняла усталое сердце матери.

— Что же будет? — шепотом сказала она. — Я что-то себя так плохо чувствую... Папа не работник... А что, если вы останетесь одни?..

Катя, краснощекая, крепенькая, подошла к матери с серьезным, торжественно нахмуренным личиком, взяла ее за руки:

— Мама, ты зря все это... Во-первых, все еще будет хорошо. И не выдумывай, пожалуйста. А если уж вдруг случится... Так что ж, мы пропадем разве? Ведь у нас такие люди, мамочка, что одних не оставят. А Колька вон рисует хорошо. Будет заказы брать в случае чего. Я умею стирать, готовить.

Коля угрюмо молчал.

— Ну, а ты, Коленька, как считаешь? — осторожно спросила его Наталья Николаевна.

Коля все молчал.

— Что ж ты молчишь, Коленька?

— Есть вещи... — проговорил Коля, и голос его надорвался, — есть вещи, которые я не могу, не хочу себе представить...

И, отвернувшись, он быстро вышел из комнаты.

Мать выбежала за ним и нашла его в парадном. Он стоял на холодной лестнице, прижавшись лбом к стене. Она обняла его, потянула к себе, и он припал мокрой щекой к ее щеке, весь вздрагивая и прерывисто шепча ей под ухом:

— Никогда больше так не спрашивай, прошу тебя! Ведь я не могу же себе представить просто так... Я же сразу все вижу глазами...

<...> Воскресным утром в гости к Женьче пришел крепко сбитый, наголо стриженный мальчуган в военной гимнастерке с алыми погонами. Это был музыкантский воспитанник Андрей

Смыков. Приемный сын гвардейского полка, он был прислан учиться в музыкальной школе. Ребята всего двора сбежались слушать его рассказы о том, как он сам воевал на Первом Украинском фронте.

— И за это я имею благодарность от высшего командования, — говорил хриплым баском Андрей Смыков.

— Ух, здорово! Лично ты? — изумлялся Женяча.

— Так в приказе было, — отвечал Андрей Смыков. — Всем войскам фронта. Значит, и лично я, получается.

И позавидовал же ему Коля! Вот этот даром времени не терял. Сам бывал в боях, а теперь учится играть на трубе. А когда кончится война и будет снова парад на Красной площади, Андрей Смыков, конечно, будет там и труба его запоет перед строем героев...

Коля очень любил музыку — «сестру живописи», как сказано было в книжке Леонардо да Винчи. Он мог часами стоять, припав ухом к приглушенному репродуктору, слушая передачу какого-нибудь большого концерта. В тот день, когда он вернулся со двора после встречи с Андреем Смыковым и долго читал вслух папе «Петра Первого» Алексея Толстого, и толпились у него перед глазами в красивых кафтанах не нашего времени люди, о которых говорилось в книге, по радио передавали «Реквием» Моцарта. Прервав чтение, долго слушали отец и сын музыку. Полная безмерного горестного величия, она печалилась об утратах, утоляла великую скорбь мира и колыхала его мощным шагом неоскудевающей жизни. А когда затем папа заснул, Коля отошел на цыпочках к своему столу и долго сидел там, молчаливый и сосредоточенный, трудясь над какой-то новой композицией.

— Коля, ты здесь? — спросил, проснувшись, папа. — Что ты там делаешь?

Коля быстро убрал рисунок под книги, как будто папа мог взглянуть на него.

— Так, кое-что рисовал. Хочу вот к «Петру Первому» иллюстрации сделать про ассамблею.

И, чтобы не чувствовать себя вралем, он действительно начал набрасывать на новом листе саженную размахистую фигуру Петра Первого и стриженных, безбородых бояр, одетых в немецкое платье...

Часто, держа перед папой невидимый для него новый рисунок, Коля беззвучно повторял про себя, как заклинание: «Увидь! Ну увидь!» Ему так хотелось, чтобы папа снова видел, что он уже иногда начинал верить в неодолимую силу своего желания, перед которым должна была, как ему казалось, разверзнуться тьма, закрывавшая его от глаз отца. <...>

Самое настоящее

<...> Он уговорил Женьчу Стриганова пойти с ним в Третьяковку — так уже запросто называл он теперь галерею. До этой поры Женьча, хотя и уважал Колю за то, что он хорошо рисует, все же в душе был убежден, что ходить специально смотреть картины интересно только в кино. Но Коля его очень уговаривал, и Женьча решил пойти посмотреть, в чем там дело.

К этому времени Коля уже перечитал немало книг о художниках и картинах, слышал множество замечательных историй о них от Петруцкого и профессора Гайбунова. И, таская несколько заробевшего, растерянно водившего глазами во все стороны приятеля по залам галереи, Коля на ходу объяснял ему, что Левитан нарисовал «У омута» после того, как побывал в имении баронессы Вульф. А там когда-то бывал сам Пушкин. Он услышал историю о несчастной девушке, которая бросилась в омут, и написал про это поэму «Русалка». Вот этот самый омут и нарисовал на своей картине Левитан. Показывая портреты Рокотова, Коля не преминул сказать:

— А этого самого Рокотова прапра — не знаю, сколько «пра» — внучка живет у нас в Москве. Она писательница, подписывается Алтаев, как будто писатель. Помнишь, мы читали с тобой книжку «Под знаменем Башмака»? Это ее. Она, знаешь, смелая! Был такой лейтенант Шмидт, революционер... Так она прятала у себя одного его матроса, который был тоже революционер, приговоренный к смерти.

Потом подвел Женю к картине Якоби «Привал арестантов» и рассказал, что женщина, которая кормит грудью ребенка на переднем плане этой картины, срисована с отважной Александры Николаевны Толиверовой-Пешковой, которая была в Италии вместе с Гарибальди. Она спасла раненого адъютанта Гарибальди, и один из его сподвижников-краснорубашечников подарил ей красную рубашку со следами крови.

Женьча только диву давался, откуда все это вызнал Коля и как это он смог все запомнить. А у Коли сияли восторгом глаза, и он таскал приятеля из зала в зал, подводил его к картинам, заставлял отходить назад, садиться на корточки, прищуриваться, смотреть одним глазом и сложив ладони трубочкой, как в подзорную трубу.

Женьча не любил громко выражать свои восторги. Картины он смотрел с интересом. Многие сам узнавал, не дожидаясь пояснений Коли. Но Коля ожидал, что знаменитая галерея произведет на его друга более сильное впечатление. Он был даже немножко разочарован.

Так как деньги, выданные мамой на автобус, Коля проел в буфете галереи, купив пирожное, а у Женьчи до получки тоже ни-

чего уже не осталось, то обратно шли пешком, хотя ноги были тяжелые, словно очугунели от долгого хождения по залам Третьяковки.

Когда они шли по набережной, их обогнал какой-то великовозрастный парень с длинными руками, торчавшими из рукавов. У него была разболтанная походка – головой вперед, нога за ногу: не то с горы сбегал, не то только что по шее получил... Он шел, вихляя штанинами слишком коротких брюк, поплеывая через каждые два шага, потом остановился на углу, лениво и тупо посмотрел на большой, расклеенный на стене плакат и походя длинной рукой вырвал из плаката огромный клин.

– Вот паразит! – пробормотал Женьча и, прежде чем Коля успел что-нибудь ответить, бросился за парнем, который уходил как ни в чем не бывало и размахивал бумажным лоскутом.

Коля видел, как его дружок нагнал великовозрастного.

– Неграмотный?... – закричал Женьча. – Или у тебя глаза вылазили?

– Ты что? Сорвался откуда? – изумился, пока еще снисходительно, великовозрастный.

Крепенький, рыжий, размашистый Женьча петушком налетел на долговязого:

– Люди трудятся, рисуют для народа, а ты корябаешь!

– А тебе-то что? Отсохни от меня!

– Я и так сухой, а как бы ты вот мокрый не сделался. Как я тебе дам вот!

И Женьча угрожающе завел кулак назад за плечо.

Противник в ответ тоже замахнулся.

Коля поспешил на помощь.

– Видал? – сказал ему Женьча. – Висел себе плакат. Люди смотрят со вниманием, радуются, а этот паразит мимо пройти не может спокойно! Есть ведь такие еще! Так и просит кулака!

– Да чего вы ко мне привязались, в самом деле! – взмолился великовозрастный. – Много вас еще тут наберется – на одного...

– Нас-то много небось, – отрезал Женьча, – а вот таких темных, как ты, мало уже остается... Держи его крепко, Коля! – командовал он, и приятели взяли долговязого с двух сторон за рукава. – И веди его. Пускай обратно приклеит, что вырвал.

Подгоняемый короткими, но выразительными пинками в спину, долговязый прошепствовал, где висел раскромсанный им и зиявший белым клином плакат.

– А чем я его вам приклеивать стану? – загундосил парень.

– Уж то не наша забота! – оборвал его Женьча. – Зачем рвать было? Вот и приклей обратно.

– Ну, ты поплуй, что ли, – посоветовал Коля.

Под наблюдением Коли и Женьчи долговязый парень не только поплевал на вырванный им клин бумаги, но от усердия даже и языком полизал его, после чего, ежась и с опаской поглядывая на мальчиков, укрепил лоскут на то место, откуда он был вырван.

— Булавочки у вас не найдется? — спросил он, видимо уже войдя во вкус дела.

У запасливого Женьчи нашлась и булавочка, даже не одна, а две. Ими пришили покрепче вырванный клочок, и плакат стал снова выглядеть как целехонький.

— Ну вот, другое дело, — сказал довольный Женьча. — Теперь можешь считать себя свободным. Иди. Только больше не озоруй. Люди получают полное образование, трудятся, рисуют, а ты: жик — и нет картины! Надо в голове соображение иметь все-таки!

Тут Коля заметил, что пальцы Женьчи, сжатые выразительно в кулак, чем-то запятнаны.

— Это что у тебя? — спросил он.

Женьча раскрыл кулаки, поднял к лицу широкую, как у отца, мосластую ладонь:

— Это? А это я кислотой на заводе сегодня... А тут напильником свеж...

Коля с уважением смотрел на руку приятеля, на пятна кислоты, втравившиеся в крепкие пальцы, на ссадину от напильника и восковидные бугорки мозолей. Да, это были «руки при деле», как говорил отец Женьчи. И недаром сам Женьча теперь то и дело запускал в разговоре словечки вроде: «Заело у меня сегодня суппорт» или: «Пустил я сегодня на все скорости, а гляжу — продольная-то бабка барахлит». Видно было, что человек хорошо знает свое направление в жизни. Коля посмотрел на свои руки. «А у меня что?.. Вот только от ультрамарина клякса не отмыта да вот чернила от вчерашней письменной в школе. Потер как следует — и не останется ничего». Он украдкой потрогал бледно-лиловую ложбинку на среднем пальце и с удовлетворением нащупал легонькое затвердение от карандаша. Нет, все-таки, значит, и его рука трудилась хоть немножечко.

И ночью перед сном опять был большой разговор с папой. Для этого был приготовлен еще заранее весьма каверзный, как казалось Коле, вопрос.

— Как ты считаешь, папа, что важнее — делать настоящие вещи или их изображения?

Папа, кажется, сразу смекнул, куда клонит сын.

— Ты, Колюша, страшный казуист.

— А что такое — казуист?

— Ну, такой любитель копаться в довольно ясных вещах и выковыривать из них, как изюминки из булки, разные, понимаешь, мнимые неясности. Ты чудак, Колюшка. Смешно вопрос ставишь.

— Папа, ты наше условие знаешь: я ведь каждый вечер могу задать любой вопрос, и ты обязан ответить. Что ж ты правила нарушаешь?

— И не собираюсь нарушать. Я сейчас тебе отвечу. Тем более что и ответить-то нетрудно. Плохо ты, видно, понимаешь искусство, дорогой, и мало уважаешь то, чему столько времени теперь уделяешь. Прежде всего: что такое «настоящие вещи»?

– Ну, вот Женьча, например... Он учится на токаря и уже работает на станке, делает всякие детали для машин. Он показывал. Красивые такие, тяжелые, гладкие. Вот возьмешь в руку и видишь – да, это штучка дельная, настоящая вещь.

– А картины, которые ты в Третьяковской галерее видел, – это не настоящие вещи? Ты, очевидно, подразумеваешь под настоящими только то, что реально существует в жизни, живет, работает на человека. Так?

Коля коротко кивнул. Он полулежал, опираясь на отставленные назад локти, напряженно вобрав голову в плечи, торчком вылезшие из майки-безрукавки, и внимательно слушал.

– Это, конечно, надо все очень уважать. Это основа. Но художник-то своей работой и должен помочь людям понять, что в жизни настоящее, а что фальшь, ложь, неправда. Тогда и всякое хорошее произведение искусства, правдивое, сильное, или, как вот ты изволишь говорить, «изображение», влияет на жизнь, становится в один строй с «настоящими», как ты выражаешься, вещами и занимает в этом строю почетное место. Вот Белинский говорил, что искусство должно изучать, отражать жизнь и соперничать с ней.

– Вот это, папа, я почти и сам так думал, – согласился Коля. – Но, знаешь, иногда вот как-то растеряешься, и все в голове путается.

– Так что, Колюшка, как видишь, ты и сам прекрасно все понимаешь насчет настоящих вещей. Только надо подрасти как следует и многому выучиться. Тогда уже и начинается самое настоящее.

– А как ты по правде думаешь, папа, будет у меня когда-нибудь самое настоящее? – спросил Коля, и в горле у него вдруг тренькнула пытливо-затаенная тревога.

– Ну конечно будет!... Спи. Заболтался...

Часть III

Глава 7

«Увертюра»

– Знает ли он сам, какие силы в нем зреют? – спрашивал иногда Федор Николаевич у жены.

А он, должно быть, кое-что уже знал.

Однажды, когда Коля сидел за уроками, Наталья Николаевна рассказывала мужу об интересной работе, которую предложили им. Надо было разрисовать панно для одного из клубов. Но там, кроме орнамента и декоративных мотивов из цветов и листьев, требовалось написать человеческие фигуры.

– Да, страшновато браться, – сказал папа. – Мы с тобой давно людей не рисовали, трудно будет.

Коля осторожно подошел к столу. Он посмотрел внимательно на родителей, слегка потупился и сказал очень просто и спокойно:

— Берись, папа. Я вам помогу.

— И, не настаивая, не дожидаясь ответа, взял книжки и вышел.

Но это были лишь минуты счастливой уверенности, которые находили на него после какой-нибудь очень уж явной и всеми признанной в школе удачи. А потом снова накатывало на него какое-то странное состояние беспомощности, и он жаловался той же Кате:

— Ничего у меня, Катька, не получается!.. Ничего из меня не выйдет. Тоска такая!..

На что Катя наставительно отвечала:

— Ничего! Выйдет. Как вот эта дурь из тебя выйдет, так все из тебя и получится. И потом, я знаю еще, отчего у тебя тоска. Хочешь, я сбегаю отнесу записку?

Коля яростно багровел и показывал ей молча кулак.

Но Федор Николаевич понимал эти настроения сына. Ему всячески хотелось укрепить в Коле веру в себя, столь нужную для дальнейшего учения.

Даже у самых талантливых людей бывают трудные периоды, пора застоя, когда им начинает казаться, что движение к совершенству приостановилось, все топчется на одном и том же месте и то, что делается сегодня, — выходит несколько не лучше вчерашнего. А тогда теряется вера и в завтрашнюю удачу.

На семейном совете у Дмитриевых решено было, что Колю надо подбодрить добрым участием какого-нибудь авторитетного человека. Поговорили с дядей Володей и бабушкой, и в середине января папа сказал Коле, что они пойдут к известному художнику Петру Петровичу Кончаловскому.

Визит был назначен на 18 января. Коля с нетерпением ждал встречи с художником, темпераментными, насыщенными работами которого он уже давно восхищался. Шутка ли сказать — сам Кончаловский посмотрит его работы и даст свою оценку...

Никто дома и в школе не знал, что Коля начал с нового, 1948 года вести дневник. Он никогда никому не показывал его. И вот что записал Коля в этот дневник 18 января:

«Мы поднимались по крутой лестнице, в полумраке отыскивая кв. 40. Я заметно волнуюсь. У папки тоже дрожат руки... В голове носятся ужасные мысли: как примет, да и примет ли вообще? Не волноваться было невозможно. Как не волноваться! Первый раз к большому мастеру, да к какому мастеру! К К о н ч а л о в - с к о м у!.. Наконец квартиру нашли. В темноте шарим звонок, звонок нет... Робко стучимся. За дверью слышатся тяжелые, шаркающие шаги, от которых душонка моя ушла в пятки. Дрожу — хотя и не холодно. Наконец дверь открывается. На пороге появляется грузный мужчина, добродушный толстяк лет шестидесяти, в

берете, в очках каких-то совершенно необычайных, страшных размеров, придающих что-то теплое, доброе его лицу. «Здравствуйте, здравствуйте. Что-то вы очень рано. Ну заходите, показывайте, что вы тут притащили...» – говорит он добрым хриплым басом.

По всему видно, что мы оторвали Петра Петровича от работы. Посреди огромной мастерской с гигантским окном во всю стену стоял громоздкий, неуклюжий мольберт с надетым на него холстом. Стены были увешаны и уставлены полотнами, большими и маленькими. Мебели было мало: всего лишь два дивана, предназначенных для гостей вроде нас, да для натурщиков, да большой стол, сплошь заложённый красками, выдавленными тюбиками и колоссальным количеством кистей разнообразных размеров. На массивной табуретке лежала палитра. О Боже, что это была за палитра! Палитра эта была огромных размеров. С такой палитрой мог писать, пожалуй, лишь один Кончаловский. Петр Петрович усадил нас на диван, сел сам, от чего сиденье дивана стало касаться пола, и приступил к просмотру работ. Глядя на этого немножко смешного, неуклюжего симпатичного Кончаловского, [я почувствовал, что] у меня пропал весь страх к нему, все смущение. Конечно, я волновался за свои работы, но это было уже совсем не то волнение, с каким я поднимался по лестнице. Папка не растерялся, начал расспрашивать П.П. о том о сем. Кончаловский сначала был неразговорчив, а потом постепенно разошелся да такие советы, указания ценные начал [давать], куда только девалась молчаливость. Критиковал, хвалил, ругал. За рисунок похвалил, особенно за наброски. Так он пересмотрел работы несколько раз и пришел к выводу, что надо продолжать учиться, что игра стоит свеч. Основная моя ошибка, заметил П.П., – это недостаточно внимательное изучение природы... Он стал показывать лучшие свои работы: натюрморты, сирени, портреты. И действительно все полотна его с первого взгляда кажутся сочно, красиво и даже нарочито довольно небрежно выполнены. А на самом деле очень близки к природе, очень жизненны и внимательно прочувствованы, чего я раньше не замечал в нем. Начало темнеть, но мы с удовольствием остались бы до позднего вечера. Из приличия, да и боясь утомить Петра Петровича своим долгим присутствием, мы попрощались – уже друзьями, поблагодарили и вышли из мастерской. Спускаясь по темной крутой лестнице, я еще долго не мог поверить в душе, что был у Кончаловского».

С новым жаром, взбодренный скупым, но уверенным одобрением Кончаловского и его точными, строгими советами, бросился опять Коля в работу.<...>

«30 января, пятница

Был в Большом на «Вражьей силе» с дядейлевой. Сама опера мне не нравится. Декорации дядюшкины гораздо лучше. Особен-

но в 3-м и 4-м действии. В антрактах поднимались на шестой ярус и с головокружительной высоты делали наброски. Вернее, делал я один.

— Потом ели пирожные «наполеон»!

Вообще дядя Лева мне кажется хорошим. Веселый, никогда не сердится и достает билеты в театр за свои деньги. Что может быть лучше!

После спектакля разошлись. Я понесся домой, чтобы скорей приступить к композиции на тему «Театр», пока не скомкались впечатления».



Портрет В.С. Мамонтова

Несколько дней трудился Коля над этой композицией. Делал эскизы в тетрадях, в альбоме, на полях дневника. Наконец композиция была закончена. Коля назвал ее иначе, чем было записано сначала в дневнике. «Увертюра» — так теперь именовалась эта композиция. На ней был изображен зал Большого театра, как бы его увидел зритель примерно из десятого ряда партера. Только что погасили свет, и он будто еще не вытек весь и нежно теплится в канделябрах и люстре. Таинственные тени разбежались по ложам. Истаивая в полумраке, чуть поблескивает лепное золото ярусов. Уж дали свет на рампу; зыбкое золотисто-розовое сияние струится снизу вверх по тяжелому занавесу, вдоль которого скользят едва уловимые волны. И поднялся там, вдали, над стесненным горизонтом, отчеркнувшим освещенную сцену от невидимого оркестра, дирижер — маленькая черная фигурка, — поднял руку с палочкой, застыл. Все полнится ожиданием. И вот проносится тихо первый звенящий вздох, который уже не в силах сдержать ни дрогнувшие струны, ни глухо отозвавшаяся на них медь. Началась увертюра.

Все здесь жило на неуловимой грани света и сумрака, все было схвачено между полной тишиной и первым звучанием. Такая сдержанная сила ожидания, такое предвкушение чего-то очень большого заполняли всю эту картину, такой сладостной тишиной дышала она, давая, казалось, слушать всем первые такты едва зазвучавшей музыки, что, когда Коля показал дома работу, все невольно стали говорить вполголоса. И потом проверяли это впечатление на многих. Даже самые шумные невольно понижали голос и затихали перед этой композицией. Ее хотелось смотреть безмолвно, сливаясь с той внимающей музыкальной тишиной, которую так удалось изобразить молодому художнику на своем этюде.

Добрейший дядя Лева, считавший себя одним из виновников этого маленького торжества Колиного искусства, выпросил композицию «Увертюра» на денек, чтобы показать брату. И придиричивый дядя Володя опять кричал на всех родных, что они мало что понимают и что он всего объяснить им не в состоянии.

– Вы понимаете, почему именно «Увертюра»? Он хотел дать простор чувствам зрителя, положиться на его догадку. Предвкушение ведь иногда лучше бывает того, что ждешь... Тут ты еще сам хозяин – представляй, воображай себе что хочешь, а потом уж ты не сам – тебе показывают.

Он еще и еще раз вглядывался в композицию.

– Да, это именно увертюра. Занавес еще не поднят. Только первую ноту дал оркестр, и мы с вами можем лишь угадывать, что нам еще предстоит увидеть, что нам после такой увертюры покажет этот маленький геркулесик.

<...> А в школе своим чередом шли занятия, уроки. Работали в мастерской, сидели в классах, писали контрольные, ходили в Третьяковскую галерею. Готовились провести в феврале суриковский вечер.

Коля учился неровно. Иногда по всем предметам выходил в число лучших, потом вдруг начинал быть рассеянным, немножко отставал, зевал на уроках и с нетерпением ждал субботы.

«Ах, суббота, – писал он в субботний вечер 31 января, – что может быть лучше субботы! Плетешься лениво в школу и думаешь... Ведь в субботу можно делать буквально все, что хочешь (нет, конечно, не все, что хочешь...). Можно избить З. на последнем уроке, можно вообще на последний урок не приходиться. А хочешь – не заявляйся на физкультуру и все 45 минут в библиотеке наслаждайся книгами по искусству. И все эти большие и маленькие грехи забудутся в воскресенье, а в понедельник придишь в класс как ни в чем не бывало. А тут уж имей терпение...» <...>



Иллюстрация к рассказу
И.С. Тургенева «Певцы»

<...> **«15 февраля, воскресенье»**

Утром побежал в Третьяковку. Еще раз посмотреть Врубеля, Серова и Сурикова. И все-таки неправ Витька! Серовский портрет куда сильнее репинского. Конечно, я не говорю об исключении.

17 февраля, вторник

Из школы прямо махнул на Гоголевский бульвар и там перед самым носом милиционера сделал набросок памятника для композиции.

Читаю Врубеля.

18 февраля, среда

Четыре – за сочинение на тему «Патриотизм летчика Мересьева». Елена Константиновна похвалила, а это уже хорошо, уже достижение. Хвалит она очень редко.

7 марта, воскресенье

Ну уж теперь никто не может сказать, что весна еще не началась. По крайней мере, настроение у всех весеннее. Выйдешь на

улицу, так и домой не захочется возвращаться.

На ясно-синем небе яркое, свежее солнышко, весеннее солнышко.

А небо без единого облачка, сине-лиловое в зените, зеленовато-лазоревого к горизонту.

Все подернуто лиловой светло-голубой дымкой. Весенние тени, тени просто синие... Синее всё: блестящие крыши, сияющая мостовая, во всякой лужице отражается голубая лазурь. Воздух необыкновенно прозрачен, кристально чист. Все вокруг капает, журчит, несется шумным, непреодолимым потоком. И так весело становится на душе...

А солнышко, весеннее солнышко так припекает, что снег на крышах уже почти стаял. А в тех местах, где солнце печет особенно жарко, асфальт высыхает, дымясь голубым паром.

На таких местах любят собираться заботливые мамы и няньки. Машинально покачивая свои коляски, дремлют они, сидя на согретых скамеечках под теплыми весенними лучами, под монотонный звук капли.

Ездил с Витькой писать...»

Коля очень любил эту весеннюю пору в Москве, особенно солнечные дни, когда весь город бывал полон слепящего, радужного блеска и каждый проходящий автобус одаривал прохожих их отражениями. Люди видели себя в промытых витринах, в стеклах машин, в лужах. Воздух заполняла игра преломленных лучей, часы на руках прохожих пускали веселые колющие искорки, и даже очки сердитого старичка и те отбрасывали солнечных зайчиков. А у киосков, где всю зиму продавались лишь мертвые бумажные цветы, уже крошились сегодня желтыми пушистыми катышками мимозы. <...>

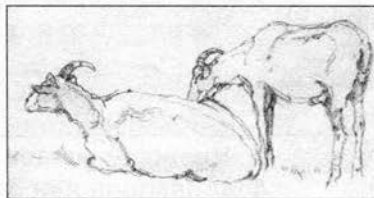
«18 марта, четверг

Приближается конец третьей четверти. Сегодня на уроках (специальных) никто ничего так и не делал. Все волнуются, разговаривают, намечают оценки. В классе, как в улье, стоит непрекращающийся шепот. Антонина Петровна знает, что остановить его невозможно. На втором уроке раздали работы. Наконец-то я увидел все свои «труды» за два месяца целиком! Вид довольно печальный. Особенно плохо обстоит дело с рисунком. За эту четверть удачные работы у Виктора, да и у Егора ничего.

После школы пошел на Арбат. Случайно купил Сурикова – репродукции рисунков довольно хорошие. По-моему, покупка удачная. И всего пять рублей. Дешево и сердито.

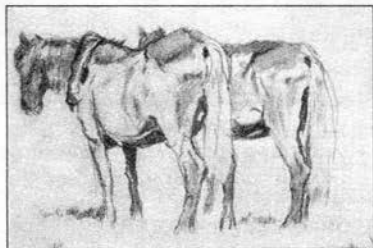


Иллюстрация к поэме М.Ю. Лермонтова
«Песня про купца Калашникова»



Зарисовка

Форменным образом начинаю бояться за рисование (свое). Вот уж целый месяц, если не больше, ничего не сделал. И, что удивительнее всего, охоты нет, нет желания. Пропала любовь к рисунку. Как ни сяду, карандаш из рук валится. Папа говорит: возраст переходный. Я сам себя успокаиваю, что все это пройдет скоро.



Зарисовка

Сегодня 19 марта, пятница

На специальных записывал натюрморт. На третьем уроке Нина Павловна устроила контрольную по алгебре. Довольно трудную. Но, как ни удивительно, все же я ее одолел.

... Сейчас готовлюсь к французскому, завтра контрольная. Дни опять испортились. На улице холодно, пасмурно, метель, лучше не выходить.

20 марта, суббота

...Днем выпросил у мамы денег – верней, выпросил разрешение купить что-нибудь у букинистов. Перед самым закрытием купил Рубенса – небольшую монографию, очень интересную...

21 марта, воскресенье

Иду в Третьяковку к самому началу – к десяти часам.

Несмотря на ранний час, народу уже тьма-тьмущая.

На этот раз задался целью хорошенько посмотреть старых наших мастеров. Больше всего рвался к Кипренскому и Боровиковскому. Но, как ни странно, Кипренский произвел на меня отнюдь не то впечатление, что я от него ожидал. Раньше он мне нравился гораздо больше. Зато Левицкий и Боровиковский превзошли все мои ожидания.

В этих залах встретил Витьку. Странный он человек: никак не мог смириться с тем, что мне не нравится Сильвестр Щедрин. Мое мнение о пейзаже таково: в портретах и картинах допускать сухой академизм, выделение до последней детали, а также и натурализм – вполне допустимо. Но в пейзаже сушить и выделять, как это делал Щедрин, по-моему, ошибка большая. Конечно, в ту эпоху академизма школа, а потому и тех-



Лев

ника художников-пейзажистов была строгая, сухая и, по-моему, отчасти натуралистическая. Сильвестр Щедрин не мог себе представить пейзаж таким, каким его изображали Коровин, Серов и Левитан...»

Тут Коля задумался и решил, что он перехватил. Начиная со слов «в ту эпоху», он энергично перечеркнул чернилами крест-накрест все до последней строки. И под этим решительно написал:

«Куда уж мне, дурак у!!»

Ах, как я сейчас почувствовал свое ничтожество! Как я еще мало знаю! И берусь судить. Нахватался где-то чего-то. А за какую тему взялся! Да что и говорить! Слаб Колька, слаб!!! Плаваешь по поверхности. Нет у тебя глубоких знаний. Настоящих знаний! Плохо. ПЛОХО».

Глава VIII

В светотени будней

<...> «7 апреля, среда

...Весна в зените. Солнце печет весь день, на улицах тепло, даже жарко. Настроение у меня замечательное. Конечно, от весны, несмотря на экзамены...



«Мир зверей» (к басне И.А. Крылова)

Суббота, 10 апреля

Весь вечер посвятил сегодня урокам. Начал учить билеты. Выучил уже целых три билета. Осталось только 23 штуки.

29 апреля, четверг

...Представляется случай сходить в театр... Все дядя Лева, дорогой. И, между прочим, сам еще не знаю, в какой театр иду. Известно только, что на «Лес» в постановке дядюшки.

Одно лишь меня смущает: сегодня четверг, дают муку перед праздником, как бы не подумали, что я простоял за мукой... В школе сегодня сбор. Просто труба! Но в театр я все-таки пойду».

И они пошли в Художественный театр на генеральную репетицию «Леса» вместе с неизменным и верным дядей Левой.

Во время спектакля дядюшка, осторожно скосив глаза, следил за Колей. Он видел, как у того весело щурились глаза, потом совсем еще по-ребячьи открывался рот и голова начинала покачиваться из стороны в сторону. Это Коля восторгался декорациями дяди Володи. И они правда были очень хороши. Особенно комната Гурмыжской, где все было вдохновенно обдуманно, взвешено, где каждая мелочь передавала и стиль, и время, и отношение художника к тому, о чем говорилось на сцене.

В антракте к ним подошел сам дядя Володя. Он только что приехал из Ленинграда, немножко устал, но был, как всегда, бодр, подвижен. Увидев Колю, заулыбался и с ласковым уважением протянул руку. Коле очень хотелось сказать ему, как понравились декорации. Но тут дядю кто-то отозвал в сторону, и Коля так и не успел выговорить ни слова. Зато он долго и усердно хлопал после спектакля, вызывая дядю на сцену.

А через несколько дней, 5 мая, Коля на отдельной страничке сделал последнюю запись в своем дневнике, к которому больше никогда уже не прикасался:

«5 мая (1948)

Скоропостижно умер в 9 часов утра дядя Володя.

В последний раз я видел его 29 апреля на репетиции «Леса» в МХАТе. Веселый, как всегда, он подошел к дяде Лева, обменялись впечатлениями. Заметил меня, поздоровался. Все...

Кончился спектакль, зал опустел. Мы выходили последними. Я вспомнил, что не поблагодарил и не попрощался с дядей Володи. Стыдно мне стало. Вернуться и поблагодарить смелости не хватит... В этот момент совершенно случайно оглянулся на сцену. Дядя Володя стоял один и глядел в мою сторону.

И кто ж мог знать, что случится через неделю... Кто мог знать?!

Вечером 4-го числа он пришел домой совершенно здоровый. За ночь случился припадок, через некоторое время другой. Послали за врачом, да поздно. В 9 часов дяди Володи не стало.

Как мне показалось, больше всех огорчился папка».

И вот Коля проводил дядю Володю туда, на Новодевичье, куда так часто ходил последнее время делать зарисовки и писать этюды. И первый раз, не в силах сдержаться, плакал горько и безудержно на людях. А на другой день опять пришел на кладбище. Долго стоял там и нарисовал свежую могилу на обратной стороне обложки книги, которая была у него в кармане. Здесь и застал его дядя Лева. Молча и крепко обнял он за плечи застывшего на холодном ветру Колю. Так они стояли некоторое время у могилы дяди Володи. А потом дядя Лева тихо проговорил:

— В девятнадцатом веке были тоже два художника Дмитриевы. Одного Кавказским называли, другого — Оренбургским. А теперь, Коля, как умер Володя, не остается ни одного Дмитриева в живописи. Смотри, Коля... Вся надежда на тебя.

Смерть дяди Володи так потрясла Колю, что он несколько дней не ходил в школу, не брался за карандаш...

Но приближались экзамены. Коля пересилил сосущую боль, которая не оставляла его с того момента, как он узнал о смерти дяди Володи. Да, в мире теперь многого будет не хватать ему, и это уже никогда и ничем не заполнить. Однако надо было взять себя в руки.

Коля пошел заниматься.

Пришла страдная пора: экзамены — время, которое приближается со страшной быстротой, вычеркивая день за днем, но само по себе проходит в таком напряжении и столь самопоглощающе, что потом, уже на следующий день, почти не вспоминается.

Были трудные минуты, были часы томительного ожидания — все осталось позади. <...>

Кисти и стрелы

<...> Целые дни Коля пропадал где-нибудь за деревней, в лесу или на реке; забегал домой, чтобы наспех пообедать у Нюши, и сейчас же снова уносился туда, где еще с утра или накануне облюбовал себе местечко для работы.

<...> Десятки новых замыслов толпились в голове у Коли. Везде он примечал частички большой жизни, достойные того, чтобы запечатлеть их.

<...> Ощущалось приближение осени. Кристально прозрачными стали августовские дали. Коля писал рожь на косогоре, где в ветреные дни стелился тихий неумолчный звон созревших колосьев — казалось, будто в ушах звенит... Позднее писал хлеба, убранные в копны. Большая серия акварелей изображала то поле перед дождем, то реку и кусты, покорно затихшие в ожидании надвигающейся грозы, то гладь лугов, прошитую первыми нитями дождя, или развидневшееся, только что омытое недавним ливнем небо, напоенные долины, деревья с отяжеленной листвой.

<...>

Но Колю уже неотвратно тянуло домой, в Москву, в свой двор, в Плотников переулок, которым так легко пройти к бывшему саду глухонемых... <...>

Но ждать оставалось недолго: в первой половине августа должна была заехать тетя Таня и увезти Колю с Катей. За несколько дней до назначенного срока, 11 августа, Коля писал этюд на берегу Мологи. Здесь его и разыскал Миша Хрупов. Он рассказал, что обнаружил в большом бору, который начинался неподалеку от Репинки, ястребиное гнездо и новые, очень интересные места: крутые овражки-промоины в чащобе, заваленные буреломом с когтистыми, острыми суньями. Решено было отправиться туда завтра же. Сговорились выйти пораньше, чуть свет, чтобы заодно посмотреть и восход солнца. <...>

Слово у дверей (Эпилог)

<...> 12 августа 1948 года Коля Дмитриев пошел на охоту с одним своим товарищем в деревне Репинка, что в Калининской области. Товарищ шел впереди с заряженным ружьем в руке по краю глубокой, обрывистой промоины, вроде овражка, на дне которой торчали острые, как пилки, сучья бурелома. Он поскользнулся на мокром листе и упал бы вниз прямо на эти острые деревянные клыки. Коля бросился вперед, чтобы подхватить его. Но тот сам, пытаясь удержаться, инстинктивно рывком оперся на ружье, схватившись за его ствол. Ружье со взведенным курком ударилось ложем в пень. Раздался выстрел. Коля, даже не вскрик-



Коля за работой. 1947 г. (фото)

нув, упал лицом на землю. Заряд попал ему прямо в висок... <...>

— Когда в Москву были доставлены папки с его работами, все были потрясены прежде всего их количеством. Трудно было поверить, что мальчик сделал все это за два месяца. Почти полтораста работ. И каких работ!.. Ведь он рисовал там совершенно самостоятельно. Никто не мог ему дать совет, сделать поправку. И вместе с тем в этих работах были уже и зрелость, и редкое мастерство. Даже те, кто и раньше был знаком с творчеством Коли Дмитриева, были теперь просто поражены. <...>

И он действительно был необыкновенно волевым, трудолюбивым в учении, непреодолимо настойчивым в работе. <...> И все-то он завидовал тем ребятам, которые уже приносили какую-то реальную пользу нашему народу... По скромности своей он считал, что ничего еще толкового не сделал. Как он восхищался юными ремесленниками, музыкантскими воспитанниками и барабанщиками нашей армии, юными партизанами, отличившимися в Великой Отечественной войне!.. Он отказывался верить, что сам совершает настоящий, подлинный подвиг труда и высокого, неустанного постижения правдивой красоты жизни. И опять мне хочется привести вам тут слова Репина, адресованные тому же Серову, но полностью приложимые и к нашему юному художнику. Вот, слушайте:

«В душе русского человека есть черта особого скрытого героизма. Это — внутрилежачая, глубокая страсть души, съедающая человека, его житейскую личность до самозабвения. Такого подвига никто не оценит: он лежит под спудом личности, он невидим. Но это — величайшая сила жизни, она двигает горами; она делает великие завоевания; это она... руководила Бородинским сражением; она пошла за Мининым... И она же наполняла сердце престарелого Кутузова. Везде она: скромная, неказистая, до конфуза перед собою извне, потому что она внутри полна величайшего героизма, непреклонной воли и решимости. Она сливается всецело со своей идеей...» <...>



1. Объясни, как ты понимаешь смысл названия глав.
2. Кто из взрослых оказал влияние на Колю? Каким было это влияние?
3. Что дают для понимания характера Коли его дневниковые записи?
- (П) 4. Сравни, как происходило становление двух талантливых людей — Петра из повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант» и Коли Дмитриева из повести Л.А. Кассиля «Ранний восход». Почему таланту каждого из них удалось развиваться?
5. В чем секрет успеха Петра Попельского и Коли Дмитриева?

А.С. Пушкин

— Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомнением взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

26 мая 1828 г.



1. О каком душевном состоянии поэта говорят строки стихотворения?
2. Найди философские размышления поэта о жизни. Что его заставляет страдать?
3. В чем видит поэт свое предназначение? Попробуй доказать на примере прочитанных тобою произведений А.С. Пушкина справедливость последних строк второй строфы.

19 октября. Сегодня «пушкинская» дата. В этот день я всегда ощущаю себя частицей «лицейского братства» и мне радостно, что в моей жизни есть Пушкин. Его книги вновь и вновь заставляют меня чувствовать, сопереживать, думать... Верю, что каждый человек приходит на эту землю зачем-то, с какой-то своей **миссией**¹. Каждый должен сделать что-то – большое или маленькое, но обязательно выполнить **это**. Нельзя жить **просто так**. Должна быть цель. А вдруг как можно не заметить в себе талант, так и миссию свою можно не понять. Что тогда? Я уже выбрал профессию, но я не выбрал путь.

В чем моя миссия? Написать книгу, которая делает мир чуть лучше? Вырастить и воспитать детей? Сделать другого человека счастливым? Не знаю...

¹ Миссия – ответственное задание, поручение, роль (книжн.).

Вопросы, заданные Пушкиным в XIX веке, по-моему, и сейчас, в XXI, остаются без ответа. «Моцарт и Сальери»: совместимы ли в одном человеке «гений и злодейство»? В чем отличие таланта и гения? Если миссия Моцарта была – нести свет, радость через музыку, то неужели миссией Сальери было остановить гениального композитора? И может ли миссия быть недоброй?... И в «Капитанской дочке» много таких вопросов: можно ли творить зло во имя высокой цели? Какую цену можно заплатить за спасение собственной жизни?..

?

ДАВАЙ ПОДУМАЕМ НАД ВОПРОСАМИ

1. В чем может быть предназначение человека? Можно ли жить «просто так»?
2. Задумывался ли ты о своем предназначении?
3. Предлагаем тебе прочитать повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и маленькую трагедию «Моцарт и Сальери». События, описанные в них, происходят в последней четверти XVIII века, но звучат произведения современно. Постарайся в ходе чтения найти этому подтверждение.

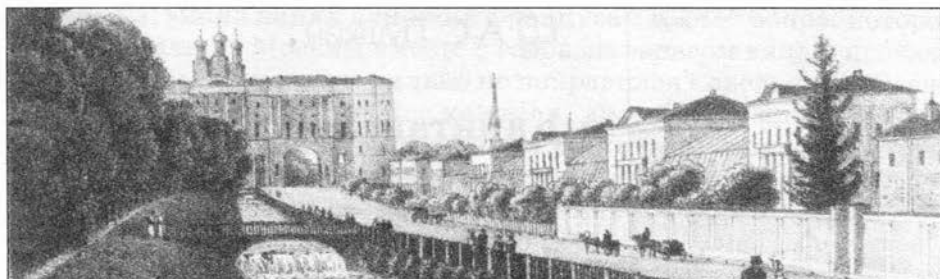
Информация
для тебя



Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837)

Жизнь Александра Сергеевича Пушкина неразрывно связана с двумя великими городами – Москвой и Петербургом. В первом он родился 6 июня 1799 г., с Москвой же связаны его детские годы. В Петербурге Пушкин жил после учебы в Лицее, здесь к нему пришла литературная известность, здесь в январе 1837 г. а он был смертельно ранен на дуэли французом Дантесом.

Родители Пушкина были людьми образованными, светскими. Мать, Надежда Осиповна, была внучкой известного Ганнибала, «арапа», когда-то привезенного в Россию Петром Великим. От этого предка матери Пушкина, да и во многом ему самому достались оригинальная внешность и импульсивный, взрывной характер. Отец, Сергей Львович, напротив, был мягок, беззаботен, подчас беспечен. В доме Пушкиных царил удивительная атмосфера любви к музыке, русской и француз-



Лицей в Царском Селе

ской литературе, театру, здесь бывали многие просвещенные люди того времени: писатель и историк Карамзин, поэты Жуковский, Батюшков и другие. Росший в литературной среде (его отец и дядя писали стихи), Пушкин удивил всех своими стихами очень рано, на восьмом году жизни.

В историю русской литературы Пушкин вошел как великий поэт, прозаик, драматург.

Осенью 1830 г. он, «запертый» эпидемией холеры в местечке Болдино, особенно много работает, заканчивает роман в стихах «Евгений Онегин», пишет «Повести Белкина», создает цикл «Маленькие трагедии», среди которых – пьеса «Мозарта и Сальери».

Сюжет пьесы построен на упорных слухах о том, что великий композитор Моцарт в 1791 г. был отравлен своим другом, композитором Антонио Сальери. Будто бы перед смертью, в 1825 г., Сальери признался в этом отравлении на исповеди, об этом появилась статья в лейпцигской газете. Рукопись пьесы до нас не дошла, но сохранилась обложка с первоначальным названием «Зависть».

«Капитанская дочка» была задумана после написания «Дубровского», замысел повести относится уже к 1833 г. По-видимому, судьба дворянина, покинувшего ряды своего класса, всерьез привлекла Пушкина, и он планировал в новом произведении познакомить читателей с историей молодого офицера, перешедшего на сторону Пугачева. Исторический факт – пугачевщина – придавал такому сюжету особый интерес: Пушкин увидел возможность коснуться в повести волновавших его вопросов, связанных с судьбой русского дворянства и крестьянства, системой русского самодержавия и смыслом крестьянской революции. Однако в ходе работы замысел повести изменился, но осталось желание показать становление личности молодого дворянина на определенном историческом фоне.

Поэтому Пушкин ходатайствует о допущении его к архивным материалам, связанным с восстанием Пугачева. С этого времени писатель начал собирать материалы по истории пугачевского движения. В июле 1833 г. он собрался выехать на места событий, объясняя свое желание тем, что хочет написать «роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани». «Здесь я возился со стариками, современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону» (из письма жене).

Все впечатления от поездки, от чтения архивов органично вошли в художественное повествование о молодом дворянине Петре Гриневе и его времени.



А.С. Пушкин

Капитанская дочка

Береги честь смолоду.
Пословица.

Глава I

Сержант гвардии

- Был бы гвардии¹ он завтра ж капитан.
- Того не надобно: пусть в армии послужит.
- Изрядно сказано! Пускай его потужит...

.....
Да кто его отец?

Княжнин².

Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минихе³ и вышел в отставку премьер-майором⁴ в 17... году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом⁵, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если б паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти нежившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному⁶ Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки⁷. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого⁸ кобеля. В это

¹ Гвардия – специальные, отборные войска. Первые гвардейские полки (Преображенский, Семеновский) появились в России при Петре I. В отличие от остального состава армии пользовались особыми преимуществами.

² Княжнин Я.Б. (1742–1791) – русский писатель, драматург.

³ Миних Б.Х. (1683–1767) – военачальник и политический деятель XVIII века, командовал русскими войсками в войне с Турцией в 1735–1739 годах.

⁴ Премьер-майор – старинный офицерский чин (приблизительно соответствует должности командира батальона).

⁵ В XVIII веке дворянские дети с малых лет приписывались к какому-либо полку. Пока они росли, их повышали в чинах.

⁶ Стремянный (стремяной) – слуга, ухаживавший за верховой лошадей своего господина.

⁷ Дядька – слуга, приставленный к мальчику в дворянской семье.

⁸ Борзая – охотничья собака с острой длинной мордой и длинными тонкими ногами.

время батюшка нанял для меня француза¹, мосье² Бопрé, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу, — ворчал он про себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопрé в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel³, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главную его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*, то есть (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили⁴, то мой Бопрé очень скоро привык к русской настойке, и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту⁵ обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам*, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора⁶ я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю.

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью-француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопрé спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопрé, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопрé, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопрé в смнении хотел было встать и не мог: несчастный француз был мертв

¹ Обычай приглашать иностранцев для воспитания детей широко распространился среди дворян в XVIII веке. Гонясь за модой, некультурные помещики часто нанимали воспитателями невежественных иностранцев.

² Мосье (в просторечии мусье) фр. monsieur — господин.

³ Чтобы стать учителем. Русское слово учитель дано в написании латинскими буквами для придания ему комического оттенка.

⁴ Обносить — здесь: проносить угощение мимо.

⁵ Контракт — договор, письменное соглашение.

⁶ Ментор — наставник, воспитатель (от собственного имени героя древнегреческой поэмы «Одиссея», воспитателя сына мифического царя Одиссея).

пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкнул из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича.

Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем¹, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменялась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь², ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи³. Матушка, знавшая наизусть все его свчаи и обычаи⁴, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подальше, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал «из своих рук. И так батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик⁵!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер⁶!.. А давно ли мы?...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый, годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...

— Добро, — прервал батюшка, — пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни.

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку и слезы потекли по ее лицу.

Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

¹ Недоросль — молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и не поступивший еще на государственную или военную службу. После появления комедии известного писателя XVIII века Д. И. Фон-визина «Недоросль» это слово стало нарицательным для обозначения лентяев и недоучек.

² Придворный календарь (годы издания 1735—1917), помимо календарных и других сведений, содержал списки высших военных и гражданских чинов, росписи дворцовых приемов и пр.

³ То есть вызвало раздражение, злость.

⁴ Свчаи и обычаи (устар.) — привычки.

⁵ Генерал-поручик — один из высших военных чинов царской армии.

⁶ Кавалер — лицо, награжденное орденом. Имеются в виду два высших российских ордена — Андрея Первозванного и Александра Невского.

– Не забудь, Андрей Петрович, – сказала матушка, – поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

– Что за вздор! – отвечал батюшка нахмурясь. – К какой стати стану я писать к князю Б.?

– Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши.

– Ну, а там что?

– Да ведь начальник Петрушин – князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

– Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? Мотать¹ да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает порошу, да будет солдат, а не шаматон². Записан в гвардии! Где его пашпорт? Подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собой на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда же отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня гарнизонная скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего! На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка³; уложили в нее чемодан, погребец⁴ с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробывать сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лав-

¹ Мотать – безрассудно тратить деньги на развлечения и удовольствия.

² Шаматон (разг., устар.) – гуляка, шалопай, бездельник.

³ Кибитка – крытая повозка.

⁴ Погребец (устар.) – дорожный сундучок для посуды и съестных припасов.



П.А. Федотов. Товарищи по полку. Рисунок.

кам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием¹ в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером², который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем далее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока, наконец, маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он, ротмистр³ гусарского полка и находится в Симбирске при приеме рекрут⁴, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это, — говорил он, — необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко — чем прикажешь заняться?.. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне иг-

¹ Кий — палка, употребляемая в бильярдной игре.

² Маркёр (фр.) — лицо, прислуживающее при бильярде.

³ Ротмистр — офицерский чин в кавалерии (соответствовал чину капитана в пехоте).

⁴ Рекрут (устар.) — солдат-новобранец, лицо, только что призванное на военную службу. Здесь употреблена устарелая форма родительного падежа множественного числа (вместо рекрутов).

рать в деньги, по одному грошу¹, не для выигрыша, а так, чтобы только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу² и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом, — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило.



Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? — сказал он жалким голосом, — где ты это нагрузился? Ахти, господи! отроду такого греха не бывало!» — «Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь, — ты, верно, пьян, пошел спать... и уложи меня».

На другой день я проснулся с головной болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич, — сказал он мне, качая головою, — рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволила брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при³, водкю!» Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудро было унять, когда бывало примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич,

¹ Грош — в XVIII веке российская монета в две копейки.

² Пунш — напиток из рома, вскипяченного с сахаром, водой и фруктовыми приправами.

³ Сударыня, я вас прошу (фр.).

каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел и подал мне записку от И.И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый к услугам
Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был *и денег, и белья, и дел моих рачитель*¹, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумленный Савельич. — «Я их ему должен», — отвечал я со всевозможной холодностью. — «Должен! — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление, — да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то неладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию² решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно будет мне освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, — произнес он дрожащим голосом, — не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, кроме как в орехи...» — «Полно врать³, — прервал я строго, — подавай сюда деньги, или я тебя взащей прогоню».

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С беспокойной совестью и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

¹ «И денег, и белья, и дел моих рачитель» — цитата из стихотворного «Послания к слугам моим» Д. И. Фонвизина. *Рачитель* (книжн., устар.) — человек, заботящийся о чем-либо, ведающий чем-либо.

² Сей, сия, сие (устар.) — этот, эта, это.

³ Врать — здесь (устар.): болтать.

Глава II

Вожатый

Сторона ль моя, сторонushка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня.



Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке¹, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал, с чего начать. Наконец я сказал ему:

— Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват, вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся.

— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только! Как покажусь я на глаза господам? Что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтобы утешить бедного Савельича, я дал ему слово впред, без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими саними. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

— Барин, не прикажешь ли воротиться?

— Это зачем?

— Время ненадежно: ветер слегка подымается; — вишь, как он сметает порошу².

— Что ж за беда!

— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)

¹ Облучок — сиденье для кучера в повозке.

² Пороша — только что выпавший снег.

– Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

– А вон – вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слышал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно с мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции¹ и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облежала небо. Пошел мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихрь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом – и скоро стали.

– Что же ты не едешь? – спросил я ямщика с нетерпением.

– Да что ехать? – отвечал он, слезая с облучка, – невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом.

Я стал было его бранить. Савельич за него заступился.

– И охота было не слушаться, – говорил он сердито, – воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу! – Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жи́ла² или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное.

– Эй, ямщик! – закричал я, – смотри: что там такое чернеется? Ямщик стал всматриваться.

– А бог знает, барин, – сказал он, садясь на свое место, – воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек.

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком.

– Гей, добрый человек! – закричал ему ямщик. – Скажи, не знаешь ли, где дорога?

¹ Станция – пункт остановки и смены лошадей на больших дорогах, почтовых трактах.

² Жи́ло (устар.) – жильё.

– Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, – отвечал дорожный, – да что толку?

– Послушай, мужичок, – сказал я ему, – знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

– Сторона мне знакомая, – отвечал дорожный, – слава богу, искожена и изъезжена вдоль и поперек да, вишь, *какая* погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится, тогда найдем дорогу по звездам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уже решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».

– А почему ехать мне вправо? – спросил ямщик с неудовольствием. – Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. – Ямщик казался мне прав.

«В самом деле, – сказал я, – почему думаешь ты, что жило недалеко?» – «А потому, что ветер оттоле потянул, – отвечал дорожный, – и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку¹, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю² с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность³, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслью моею было опасение, чтоб батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише, – говорит она мне, – отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели; ма-

¹ Циновка – здесь: занавеска из плетеной рогожи.

² Соображаю – здесь: сопоставляю, согласую.

³ Существенность (устар.) – действительность, окружающий мир, явь.

тушка приподнимает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал: он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего, вижу в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?» — «Все равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посажёный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны.

Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич держал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.

— На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казачья шапка.

Хозяин, родом яицкий¹ казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтобы готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.

— Здесь, ваше благородие, — отвечал мне голос, сверху.

Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающих глаза.

— Что, брат, прозяб?

— Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника², мороз показался не велик.

В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость — прикажите под-

¹ Яицкий — живущий на реке Яик (после Пугачевского восстания Яик был переименован Екатериной II в Урал, чтобы само название реки не напоминало о Пугачеве).

² Целовальник (устар.) — продавец вина в питейных домах, кабаках.

нести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца¹ штоф² и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, – сказал он, – опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» – Вожатый мой мигнул значительно и ответил поговоркою: «В огороде летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком – да мимо. Ну, а что ваши?»

– Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. – Стали было к вечерне³ звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте⁴.

– Молчи, дядя, – возразил мой бродяга, – будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье! – При, сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань⁵. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился.

– Полтину на водку! – сказал он, – за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать.

Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения.

– Хорошо, – сказал я хладнокровно, – если не хочешь дать полтину, ты вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп.

¹ Ставец (устар.) – невысокий шкаф для посуды.

² Штоф – бутыл (объемом 1/10 ведра).

³ Вечерня – вечернее церковное богослужение.

⁴ Погост – кладбище.

⁵ Пристань – здесь: пристанище, приют, убежище.

— Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич. — Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке.

— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует¹ шубу с своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напаялишь его на свои окаянные плечища.

— Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке, — сейчас неси сюда тулуп.

— Господи владыко! — простонал мой Савельич. — Заячий тулуп почти новешенький! И добро бы кому, а то пьянице оголелому!

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примечивать. В самом деле, тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней выюге, о своем вожатом и о заячем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину роста высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны², а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро. «Поже мой! — сказал он. — Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет; а теперь вот уж какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» — Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания: «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад³?, «ваше превосходительство не забыло»... гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом⁴. Мин... походе... также и... Каролинку»... Эхе, брудер⁵! так он еще помнит стары наши проказ? «Теперь о деле .. К вам моего повесу»... гм... «держат в ежовых рукавицах»... Что такое ешовы рукавиц? Это должно быть русска поговорк... Что такое «держат в ешовых рукавицах»? — повторил он, обращаясь ко мне.

¹ Жаловать (устар.) — награждать, дарить.

² Анна Иоанновна (1693–1740) — русская царица.

³ Друг, товарищ (нем.).

⁴ Фельдмаршал — высший воинский чин в царской армии.

⁵ Брат (нем.).

— Это значит, — отвечал я ему с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

— Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... нет, видно, ешовы рукавицы значит не то... «При сем... его паспорт»... Где ж он? А, вот... «отписать в Семеновский»... Хорошо, хорошо: все будет сделано... «Позволишь без чинов обнять тебя и... старым товарищем и другом» — а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — все будет сделано: ты будешь офицером переведен в*** полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние¹ вредно молодому человеку. А сегодня милости просим отобедать у меня.

«Час от часу не легче! — подумал я про себя, — к чему послужило мне то, что почти в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В*** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей²!..» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

Глава III

Крепость

Мы в фортеции³ живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.
Солдатская песня.

Старинные люди, мой батюшка.
«Недоросль».



Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзла, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности.

¹ Рассеяние — здесь: развлечения, приятное времяпрепровождение.

² Степи к востоку от реки Урал. Киргиз-кайсаками в старину называли казахов.

³ Фортеция (устар.) — крепость.

Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро.

— Далече ли до крепости? — спросил я у своего ямщика.

— Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна.

Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы¹, башни и вал; но ничего не видел, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными² крыльями, лениво опущенными.

— Где же крепость? — спросил я с удивлением.

— Да вот она, — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломой. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид³, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, — отвечал инвалид, — наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой, на стене висел диплом офицерский⁴ за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки⁵, представляющие взятие Кистрина и Очакова⁶, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распылив на руках, кривой старичок в офицерском мундире.

— Что вам угодно, батюшка? — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мою речь. «Ивана Кузьмича дома нет, — сказала она, — он пошел в гости к отцу⁷ Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника⁸. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он, — вы в каком полку изволили служить?»

¹ Бастион — один из видов крепостных укреплений.

² Лубочный — здесь: лубяной, сделанный из липового лубка, т.е. подкорья.

³ Инвалид — здесь (устар.): военнослужащий, состарившийся на службе.

⁴ Диплом офицерский — свидетельство о присвоении офицерского звания.

⁵ Лубочные картинки — дешёвые картинки, отпечатанные с гравировальных липовых досок, лубков.

⁶ Кистрин (Кюстрин) — прусская крепость, осажденная русскими войсками в 1758 г.; Очаков — турецкая крепость, взятая русскими в 1737 г.

⁷ Отец — так почтительно называют священников.

⁸ Урядник — лицо младшего командного состава в казачьих войсках царской армии.

Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно¹, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый вопрошатель². — «Полно врать³ пустяки, — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иванович вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собой шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иванович заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! — сказала ему капитанша. — Отведи господину офицеру квартиру, да почище». — «Слушаю, Василиса Егоровна, — отвечал урядник. — Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимыч, — сказала капитанша, — у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка?» — «Петр Андреич». — «Отведи Петра Андреича к Семёну Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну что, Максимыч, все ли благополучно?»

— Все, слава богу, тихо, — отвечал казак, — только капрал⁴ Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. — Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семёна Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка, и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи Владыко!

¹ Чаятельно (устар.) — вероятно, по-видимому.

² Вопрошатель (устар.) — спрашивающий, задающий вопрос.

³ Врать — см. примечание на с. 174.

⁴ Капрал — первый после рядового чин в армии XVIII века.

Ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занемо-жет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, — сказал он мне по-французски, — что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде, желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный¹ из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостью описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом² халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было посмотреть на учение; но он попросил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами.

— А здесь, — прибавил он, — нечего вам смотреть.

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною, как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузьмич сегодня так заучился! — сказала комендантша. — Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? — сказала ему жена. — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — «А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузьмич, — я был занят службой: солдатешек учил». — «И, полно! — возразила капитанша. — Только слава, что солдат учишь: ни им служба не

¹ Выписанный — здесь: исключенный, вычеркнутый из списков.

² Китайчатый — сделанный из китайки — плотной гладкой хлопчатобумажной ткани.

дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да Богу молился, так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! — сказала она, — ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое¹? Частый гребень, да веник, да алтын² денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековой невестой». Я взглянул на Марью Ивановну: она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку.



Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». — «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузьмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», — отвечал я. «Пустяки! — сказал комендант. — У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острastку, что лет на десять угомоню». — «И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она. — Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу визг, веришь, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — Иван Кузьмич может это засвидетельствовать.

— Да, слышь ты, — сказал Иван Кузьмич, — баба-то не робкого десятка.

— А Марья Ивановна? — спросил я, — так же ли смела, как и вы?

— Смела ли Маша? — отвечала ее мать. — Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузьмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страху на тот свет не отправилась. С тех пор уже и не палим из проклятой пушки.

¹ Приданое — имущество, даваемое родными невесты при выдаче ее замуж.

² Алтын — старинная русская монета (равна трем копейкам).

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.



Глава IV

Поединок

— Ин изволь и стань же в позитиру¹.
Посмотришь, проколоу как я твою фигуру!

Княжнин.

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузьмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечною. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию, так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьевичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечером иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первую вестовщицею² во всем околотке. С А.И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было; но я другого и не желал.

¹ Позити́ра — поза, положение, принимаемое при дуэли на шпагах.

² Вестовщи́ца (устар.) — любительница рассказывать новости.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван внезапным междоусобием.

Я уже сказывал, что я занимался литературой. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, а Александр Петрович Сумароков¹, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведение стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь² прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю³ вольность получить!

Но глаза, что мя⁴ пленили,
Всемигнута предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти⁵,
Сжался, Маша, надо мной;
Зря⁶ меня в сей лютой части⁷
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь? — спросил я Швабрину, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следующей. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

— Потому, — отвечал он, — что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского⁸, и очень напоминают мне его любовные куплеты⁹.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозой. «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли

¹ Сумароков А.П. (1717–1777) — русский поэт и драматург.

² Тщусь (устар.) — напрасно стараюсь.

³ Мышлю — мыслю, думаю.

⁴ Мя (устар.) — меня.

⁵ Напасти (разг.) — беды, горе, страдания.

⁶ Зря (устар.) — зря.

⁷ Часть (устар.) — здесь: участь, судьба.

⁸ Тредьяковский В.К. (1703–1769) — русский поэт, переводчик, теоретик литературы. Нередко подвергался несправедливым обвинениям в бездарности и нападкам со стороны литературных противников.

⁹ Куплет — строфа, часть песни.

ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузьмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дело, — отвечал я нахмуясь, — кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

— Ого! Самолубивый стихотворец и скромный любовник! — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня, — но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь моя закипела.

— А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

— А потому, — отвечал он с адской усмешкою, — что знаю по опыту ее нрав и обычай.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменялся в лице.

— Это тебе так не пройдет, — сказал он, стиснув мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию¹.

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич! — сказал он, увидя меня, — добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что поссорился с Алексеем Ивановичем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Ивановича заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

— Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Ивановичем побрались? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Ивановичем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно, — сказал Иван

Игнатьич, — делайте как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся; что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку¹: всего насмотрелся».

— Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша, — сказал он. — Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузьмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодейство, противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы² не подать никакого подозрения и избежать докучных вопросов; но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунденты, — сказал он мне сухо, — без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался, «Давно бы так, — сказал он мне с довольным видом, — худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

— Что, что, Иван Игнатьич? — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты, — я не вслушалась.

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что ответить. Швабрин подоспел к нему на помощь.

— Иван Игнатьич, — сказал он, — одобряет нашу мировую.

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

— Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем.

— За что так?

— За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.

— Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

— Да вот так: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь.

¹ То есть участвовал в войнах со шведами и с турками.

² Дабы (устар.) — чтобы.

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем дело и кончилось.

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков¹; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и его семейством; пришел домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать, — сказал он мне, — надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах² и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатъич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатъичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатъич отворил двери, провозгласив торжественно: «Привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузьмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! Подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в Господа Бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузьмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле³. Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам, — сказал он ей хладнокровно, — не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузьмичу: это его дело». — «Ах, мой батюшка! — возразила комендантша, — да разве муж и жена не один дух и единая плоть? Иван Кузьмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассадь их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-

¹ Обиняки — намеки.

² Камзол — короткая мужская одежда без рукавов, вроде жилета.

³ Воинский артикул — сборник законов о воинских обязанностях, преступлениях и наказаниях, действовавший в XVIII — начале XIX века.

то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию¹, чтоб молили у Бога прощения да калялись перед людьми».

Иван Кузьмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта, по-видимому, примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, — сказал я ему сердито, — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как бог свят, я Ивану Кузьмичу того не говорил, — отвечал он. — Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может», — сказал я ему. «Конечно, — отвечал Швабрин, — вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» — И мы расстались как ни в чем не бывало.

Возвратясь к коменданту, я, по обыкновению своему, подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузьмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса, Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла, — сказала она, — когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю, верно б, они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иваныч».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

— Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен, а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравится ли вы ему или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела.

— Мне кажется, — сказала она, — я думаю, что нравлюсь.

— Почему же вам так кажется?

— Потому что он за меня сватался.

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

— В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.

— И вы не пошли?

— Как изволите видеть Алексей Иваныч, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее пресле-

¹ Эпитимия — церковное наказание (поклоны, пост, длительные молитвы).

довал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией¹ и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин, — за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, бегающего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже плеча; я упал и лишился чувств.



Глава V

Любовь

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молодá замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная.

Буде² лучше меня найдешь,
позабудешь,
Если хуже меня найдешь.
вспомянешь.

То же.

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи³, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрипнула

¹ Элегия — стихотворение, проникнутое грустью.

² Буде (устар.) — если.

³ Перевязь (устар.) — повязка.

дверь. «Что? каков?» — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. «Все в одном положении, — отвечал Савельич со вздохом, — все без памяти, вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава Богу, — отвечал я слабым голосом. — Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...» — я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнися! опомнися! — повторял он. — Слава тебе, Владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна прервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич, — сказала она. — Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна, — сказал я ей, — будь моею женой, согласись на мое счастье». Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь, — сказала она, отняв у меня свою руку. — Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в уповании восторга. Счастье воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник¹, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она без всякого жеманства² призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады будут ее счастью. «Но подумай хорошенько, — прибавила она, — со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался; но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть, как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо

¹ Цирюльник (устар.) — парикмахер, владеющий также элементарными приемами врачевания.

² Жеманство — слащавая изысканность, манерность в обращении.

Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его, и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостью молодости и любви.

С Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузьмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня-таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». Я слишком был счастлив, чтобы хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы незлопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них своих чувств, и мы заранее были уже уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гринеvu, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15 сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться да за проказы твои проучить тебя путем, как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще не достоин, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуэлей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка

твоя, узнав о твоём поединке и о том, что ты ранен, с горестями занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю Бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой А. Г.».

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала, но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно, тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба; ты и мать мою хочешь уморить». Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь, — сказал он, чуть не зарыдав, — что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своей грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — «Что ты сделал? — отвечал я. — Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» — «Я? писал на тебя доносы? — отвечал Савельич со слезами. — Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство¹ к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его зашили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил, — повторял он, — вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием до топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился;

¹ Потворство — поощрение, содействие в чем-либо предосудительном, непозволительном.

а Иван Кузьмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабріне. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось? — сказала она, увидев меня. — Как вы бледны!», — «Все кончено!» — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля Господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» — «Этому не бывать!» — вскричал я, схватив ее за руку, — ты меня любишь; я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит...»

— Нет, Петр Андреич, — отвечала Маша, — я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле Божией. Коли найдешь себе суженую¹, коли полюбишь другую — бог с тобою, Петр Андреич, а я за вас обоих...

Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления.

— Вот, сударь, — сказал он подавая мне исписанный лист бумаги, — посмотри, доносчик ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына с отцом. — Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович, отец наш милостивый! Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний, — а я не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испугать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровье Бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь, под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава Богу, здоров, и про него, кроме хорошего, нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы

Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия¹, то был молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиной пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту² доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мной не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла³; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузьмичом виделся я только, когда того требовала служба. С Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

Глава VI

Пугачевщина

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывать.

Песня.

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрерывного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, и заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки,



¹ Оказия — здесь: редкий, из ряда вон выходящий случай.

² Грамота — здесь: письмо.

³ Пенять — укорять, выговаривать кому-нибудь.

долженствовали охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства беспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убийство Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта напел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости капитану Миронову.

По секрету

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник¹ Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имейте вы², господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно, и к совершенному уничтожению оного³, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению⁴».

— Принять надлежащие меры! — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. — Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Мак-

¹ Раскольник — лицо, не признающее господствующей православной церкви, хотя и не отвергающее религиозных взглядов (раскол — религиозное движение, возникшее в России XVII века и направленное против господствующей церкви). «Пугачев, будучи раскольником, в церковь никогда не ходил» (Пушкин А. С. История Пугачева).

² Имеете вы — здесь: должны вы.

³ Оный (канц.) — вышеупомянутый.

⁴ Попечение — здесь: забота, наблюдение.

симыч (урядник усмехнулся). Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно.

Раздав сии повеления, Иван Кузьмич нас распустил. Я вышел вместе с Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали.

«Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает, — отвечал он, — посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузьмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузьмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузьмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не смогла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведавать от попадья, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузьмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузьмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастье, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». — «А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузьмич не был приготовлен к такому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни¹, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпочку, камешки,

¹ Обедня — утренняя или ранняя дневная церковная служба.

щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления? – думала комендантша, – уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузьмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою:

– Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?

– И, матушка! – отвечал Иван Игнатьич. – Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

– А что за человек этот Пугачев? – спросила комендантша. Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать далее побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Подосланы были к ним лазутчики¹. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны; по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот уж тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно, при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю

комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузьмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна, — сказал он ей, покашливая. — Отец Герасим получил, говорят, из города...» — «Полно врать, Иван Кузьмич, — прервала комендантша, — ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих¹ не проведешь!» Иван Кузьмич вытаращил глаза. «Ну, матушка, — сказал он, — коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при тебе». — «То-то, батяка мой, — отвечала она, — не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».

Мы собрались опять. Иван Кузьмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал² не сопротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

— Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто на-пились такие командиры, которые послушались разбойника?

— Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузьмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

— Видно, он в самом деле силен, — заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу, — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

— Постой, Иван Кузьмич, — сказала комендантша, вставая с места. — Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска³. Счастливо оставаться.

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ⁴, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей,

¹ Да лих (устар.) — да нет уж.

² Увещевать — убеждать.

³ Розыск — дознание, следствие.

⁴ Имеется в виду указ Александра I об отмене пыток, на практике не выполнявшийся.

жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого роста, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе! — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году¹. — Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не первой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь? — продолжал Иван Кузьмич, — али бельмес² по-русски не разумеешь? Юлай, спросика у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузьмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

— Якши³, — сказал комендант, — ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда же один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плетъ и замахнулся, тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены.

— Ну, — сказал комендант, — видно, нам от него толку не добыть-

¹ В 1740 году произошло восстание в Башкирии, жестоко подавленное самодержавием. Многим участникам восстания в наказание обрезали носы и уши.

² Бельмес — ничего (от татарск. «бильмес» — не знает).

³ Якши (татарск.) — хорошо.

ся. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем.

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

— Что это с тобою сделалось? — спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна. — Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузьмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузьмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузьмич оборотился к жене и сказал ей:

— А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?

— И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

— Ну, матушка, — возразил Иван Кузьмич, — оставайся, пожалуйста, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса¹; ну, а коли злодеи возьмут крепость?

— Ну, тогда... — Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

— Нет, Василиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — Маше здесь оставаться негоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска, и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром ты старуха, а посмотри, что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.

— Добро, — сказала комендантша, — так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет

¹ Сикурс (от фр. secours) — помощь.

расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

— И то дело, — сказал комендант. — Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?

— У Акулины Памфиловны, — отвечала комендантша. — Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, что-бы не занемогла. Господи Владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался, но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застаю Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она мне со слезами. — Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой, — сказал я, — прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.



Глава VII

Приступ

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу¹ себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Народная песня.

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще не-

давно был я погружен. С грустью разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту.

Уже рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы? — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. — Иван Кузьмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». — «Уехала ли Марья Ивановна?» — спросил я с сердечным трепетом. «Не успела, — отвечал Иван Игнатьич, — дорога в Оренбург отрезана, крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье¹. Пушку туда перетасили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалось, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысым шапкам и по колчанам. Комендант обошел все свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди brave и присяжные²!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну, что? — сказала комендантша. — Каково идет баталья? Где же неприятель?» — «Неприятель недалече, — отвечал Иван Кузьмич. — Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?» — «Нет, папенька, — отвечала Марья Ивановна, — дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомя, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

¹ То есть был в боевой готовности.

² Присяжные — здесь: присягнувшие, принявшие присягу.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками¹. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал над шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам через частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас! — закричал Иван Кузьмич. — Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марию Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузьмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, приготавлились к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна! — сказал комендант. — Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва».

Василиса Егоровна, присмирившая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузьмич, в животе и смерти² Бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузьмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай Бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) «Поцелуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузьмич. Отпусти мне³, коли в чем я тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте же домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вослед Марии Ивановны: она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузьмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко, —

¹ Сайдак (тюрк.) — лук с колчаном и стрелами.

² В животе и смерти (устар.) — в жизни и смерти.

³ Отпусти мне (устар.) — прости меня.

сказал комендант, — будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблей и, казалось, с жаром их уговаривал. Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята, — сказал комендант, — теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята, вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите? — закричал Иван Кузьмич. — Умирать так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот уж вам будет, государевым послушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красивый казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народ и нас предстали Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая ти-



шина. «Который комендант?» – спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузьмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор¹ и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузьмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай, – сказал ему Пугачев, – государю Петру Федоровичу!» – «Ты нам не государь, – отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. – Ты, дядюшка, вор и самозванец!» Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных² моих товарищей. Тогда, к неопisanному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» – сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», – повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! – говорил бедный дядька. – Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», – говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» – говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! – шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. – Не упрямысь! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

¹ Вор – здесь: разбойник, изменник.

² Великодушный – здесь: человек, обладающий величием души (в отличие от малодушный).

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! – кричала бедная старушка. – Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузьмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! – закричала она в испуге. – Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузьмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» – «Унять старую ведьму!» – сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблей по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

Глава VIII

Незванный гость

Незванный гость хуже татарина.

Пословица¹

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкаф был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще



¹ Пословица сложилась во времена монгольского нашествия на Русь. По имени одного из племен русские называли монголов татарами.

перед опустелым кивотом¹. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной девической кельи²? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкафа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

— Ах, Петр Андреич! — сказала она, сплеснув руками. — Какой денек! какие страсти!

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо. — Что Марья Ивановна?

— Барышня жива, — отвечала Палаша. — Она спрятана у Акулины Памфиловны.

— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал со своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадьа вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради Бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.

— Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, — отвечала попадьа. — Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава Богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя». — «А молода твоя племянница?» — «Молода, государь». — «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». У меня сердце так и екнуло, да нечего делать. «Изволь, государь; только девка-то не может встать и прийти к твоей милости». — «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! Ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами — и ничего... Бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастью, она, моя голубушка, не узнала его. Господи Владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузьмич! кто бы подумал?.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатыч? Его-то за что? Как это вас пощадили? А как Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать! А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за это.

¹ Кивот (киот) — остекленная рама или шкафчик для икон.

² Келья — комната монаха в монастыре. Здесь: небольшая комната уединенно живущего человека.

В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась.

— Ступайте себе домой, Петр Андреич, — сказала она, — теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что́ будет, то будет; авось Бог не оставит!

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога.

— Слава Богу! — вскричал он, увидя меня. — Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? все у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава Богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?

— Нет, не узнал: а кто ж он такой?

— Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новешенький; а он, бестия, его так и распорол, напаяливая на себя!

Я изумился. В самом деле, сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

— Не изволишь ли покупать? — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — Дома ничего нет, пойду пошарю да что-нибудь тебе изготовлю.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтоб я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих, затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, «что-де великий государь требует тебя к себе».

— Где же он? — спросил я, готовясь повиноваться.

— В комендантском, — отвечал казак. — После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил

двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персоне его.

Я не почел нужным оспаривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановной.

Необыкновенная картина мне представилась. За столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников. «А, ваше благородие! — сказал Пугачев, увидя меня. — Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся.

С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева.

И на сем странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню.

«Ну, братцы, — сказал Пугачев, — затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! начинай!» — Сосед мой затянул тонким голосом заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.
Что завтра мне, доброму молодцу, в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:

Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всеё правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать¹ тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалуйю
Среди поля хоромами² высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясало меня каким-то пиитическим³ ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать; но Пугачев сказал мне: «Сиди, я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, ваше благородие? — сказал он мне. — Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накиннули тебе веревку на шею? Я чаю⁴, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват, — продолжал он, — но я помиловал тебя за твою добродетель⁵, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

¹ Исполать (устар.) — хвала, слава.

² Хоромы (устар.) — большой, просторный дом.

³ Пиитический (устар.) — поэтический.

⁴ Я чаю — здесь: я думаю.

⁵ Добродетель — добро, стремление к добру.



П. Соколов. Гринев у Пугачева

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту), чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву:

— Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смысленный; ты сам увидел бы, что я лукавствую.

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев¹ не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князя. Как ты думаешь?»

— Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

¹ Григорий Отрепьев — самозванец, ставленник польских панов, под именем Дмитрия, сына Ивана IV, захвативший в 1605 г. русский престол. Убит в 1606 г. во время народного восстания.

Пугачев задумался. «А коли отпущу, – сказал он, – так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

– Как могу тебе в этом обещаться? – отвечал я. – Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня – спасибо; казнишь – бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, – сказал он, ударя меня по плечу. – Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были закрыты. Казалось, все в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горящего по моему отсутствию. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, Владыко! – сказал он, перекрестившись. – Чем свет оставим крепость и пойдем, куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

Глава IX

Разлука

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.
Херасков¹.



Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тело

¹ Херасков М.М. (1733–1807) – русский поэт и драматург.

комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросался их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружили главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай, — сказал он мне. — Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детскою любовию и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!» Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина: «Вот вам, детушки, новый командир. Слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было посадить его.

В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изволишь увидеть», — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудроно пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь¹?»

Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

«Два халата, миткалевый² и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич. Обер-секретарь продолжал:

«Мундир из тонкого зеленого сукна, на семь рублей. Штаны белые суконные, на пять рублей».

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами, на десять рублей».

Погребец с чайною посудой, на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

¹ Обер-секретарь — главный секретарь.

Савельич крикнул и стал объясняться. «Это, батюшка, изволишь видеть, реестр¹ барскому добру, раскраденному злодеями...»

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

— Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич. — Злодеи не злодеи, а твои ребята таки поширили да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

«Одеяло ситцевое, другое тафтяное², на хлопчатой бумаге, четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином³, 40 рублей.

Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. — Глупый старик! Их обобрали: экая беда! Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барин-ном-то своим не висите здесь вместе с моими послушниками... Заячий тулуп! Я-те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь, — отвечал Савельич, — а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха.

— Смейся, сударь, — отвечал Савельич, — смейся; а как придет-ся нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет.

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников. Собственное мое бессилие утешали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое

¹ Реестр — список, перечень.

² Тафта — тонкая глянцеви́тая шелковая ткань.

³ Ратин — шерстяная ткань для верхней одежды.

воображение. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте, — говорила мне попадья, провожая меня, — прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал... Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подсакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой:

— Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще, — прибавил, запинаясь, урядник, — жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою: простите великодушно.

Савельич посмотрел на него косо и проворчал:

— Растерял дорогою! а что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!

— Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь. — Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина.

— Добро, — сказал я, прерывая спор. — Благодарю от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку.

— Очень благодарен, ваше благородие, — отвечал он, поворачивая свою лошадь, — вечно за вас буду бога молить.

При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича.

— Вот видишь ли, сударь, — сказал старик, — что я недаром подал мошенику челобитье¹: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошеники, у нас украли, и того, что ты сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок.



Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.
За станом¹ повелел соорудить раскат²
И, в нем перуны³ скрыв, в ночи⁴
привести под град.
Херасков.

Я застал его в саду. Он осматривал яблоны, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим⁶ я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! – сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. – Жаль его: хороший был! офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая мастерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! – заметил генерал. – Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим, – сказал он. – Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

¹ Стан — лагерь.

² Раск'ат – плоская насыпь для установки пушек.

³ Перу́н – бог грома в древнеславянской мифологии. Здесь: под перунами подразумеваются пушки.

⁴ В но́щи (устар.) — ночью.

⁵ Колодник – арестант, узник в колодках.

⁶ Коим (устар.) – которым.

татель легко себе представит, что я не преминул¹ явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни², толстого и румяного старичка в глазетовом³ кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузьмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые, если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело: «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно* или *оборонительно*? Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Г-н прапорщик⁴! — продолжал он, обращаясь ко мне. — Извольте, объяснить нам ваше мнение». Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия⁵.

Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных: это законный порядок. Теперь станем продолжать собиранье голосов. Господин коллежский советник⁶, скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

— Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумленный генерал. — Других способов тактика⁷ не представляет: движение оборонительное или наступательное...

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

¹ Не преминул (устар.) — не забыл.

² Таможня — учреждение для контроля над провозом товаров через границу.

³ Глазет — узорчатая шелковая ткань.

⁴ Прапорщик — младший офицерский чин в царской армии.

⁵ Правильное оружие — здесь: регулярные войска.

⁶ Коллежский советник — гражданский чин VI класса (по «Табели о рангах»).

⁷ Тактика — наука о ведении боя.

— Эх-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

— Мы еще об этом подумаем и потолкуем, — отвечал генерал. — Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

— Государи мои! должен я вам объяснить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен: ибо мнение сие основано на всех правилах здоровой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает.

Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

— Но, государи мои, — продолжал он, выпустив вместе с глубоким вздохом густую струю табачного дыму. — Я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством,



Корнет кирасирского полка.
Середина XVIII в.



Гвардейцы-пехотинцы
1742–1761 гг.

всемилоостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать.

Чиновники в свою очередь насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решился следовать мнению людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближался к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачева уже не привлекали общего любопытства. Я умирал от скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота, но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреевич! Как вас бог милует?»

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. «Здравствуй, Максимыч, — сказал я ему. — Давно ли из Белогорской?»

— Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо.

— Где же оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув.

— Со мною, — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. — Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить. — Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас усакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю Бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами Бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозит, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой¹. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель, заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота.

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия прищпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал. Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую² трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.

— Ваше превосходительство, — сказал я ему, — прибегаю к вам, как к отцу родному; ради Бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастье всей моей жизни.

¹ Лизавета Карлова — жена коменданта Нижнеозерной крепости, убитая пугачевцами (историческое лицо).

² Пенковый — изготовленный из пенки — легкого огнестойкого материала.

– Что такое, батюшка? – спросил изумленный старик. – Что я могу для тебя сделать? Говори.

– Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти не ошибался).

– Как это? Очистить Белогорскую крепость? – сказал он наконец.

– Ручаюсь вам за успех, – отвечал я с жаром. – Только отпустите меня.

– Нет, молодой человек, – сказал он, качая головою. – На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникаций¹ с главным стратегическим пунктом² и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.

– Дочь капитана Миронова, – сказал я ему, – пишет ко мне письмо; она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж.

– Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm³, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в двадцать четыре часа, и мы расстреляем его на парапете⁴ крепости. Но покамест надобно взять терпение...

– Взять терпение! – вскричал я вне себя. – А он между тем женится на Марье Ивановне!..

– О! – возразил генерал. – Это еще не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина; он теперь может оказать ей протекцию⁵, а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят, то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица.

– Скорее соглашусь умереть, – сказал я в бешенстве, – нежели уступить ее Швабрину!

– Ба, ба, ба, ба! – сказал старик. – Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоприятна; я не могу взять ее на свою ответственность.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

¹ Коммуникация – сообщение, связь; здесь: пути сообщения.

² Стратегический пункт – место, район, имеющие важное военное значение.

³ Шельма, плут (нем.).

⁴ Парапет – здесь: вал, прикрытие от вражеских пуль и ядер.

⁵ Протекция – покровительство, поддержка.

Мятежная слобода

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
«За чем пожаловать изволил в мой вертеп!» –
Спросил он ласково.

А. Сумароков².



Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться³ с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: «Сколько у меня всего-на-все денег?» – «Будет с тебя, – отвечал он с довольным видом. – Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелёк, полный серебра. «Ну, Савельич, – сказал я ему, – отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

– Батюшка Петр Андреич! – сказал добрый дядька дрожащим голосом. – Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерение мое было твердо принято.

– Поздно рассуждать, – отвечал я старику. – Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня не ворочусь...

– Что ты это, сударь? – прервал меня Савельич. – Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее.

¹ Вертеп (старослав.) – пещера.

² Этот эпиграф сочинен Пушкиным и приписан Сумарокову.

³ Переведываться – здесь: перестреливаться, выходить на поединок.

Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища Пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом, но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише! Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи Владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами: это был передовой караул Пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове: шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутой, пришпорил лошадь и поспекал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я повернул лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому, главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка, — прибавил он, — волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дожидаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец, — сказал один из мужиков, — сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидал-

ся долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай; наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток¹, уставленный горшками, — все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляда. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостию. — Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них, — сказал мне Пугачев, — от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников² самозванца. Один из них, тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой чрез плечо³ по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого роста, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому, широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубаше, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй — Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей⁴), ссыльный преступник, три раза бежавши из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори, по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение⁵, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

¹ Шесток — площадка в передней части русской печи.

² Наперсник (устар.) — любимец, человек, пользующийся особым доверием.

³ Пугачев выдавал своих приближенных за царских вельмож. Голубую ленту через плечо носили награжденные высшим орденом — Андреем Первозванного.

⁴ Белобородов и Хлопуша — видные участники Пугачевского восстания (исторические лица).

⁵ Провидение — высшая божественная сила, судьба.

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

— Я проучу Швабрина, — сказал Пугачев. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

— Прикажи слово молвить, — сказал Хлопуша хриплым голосом. — Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору¹.

— Нечего их ни жалеть, ни жаловать! — сказал старичок в голубой ленте. — Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: за чем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать; а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами²? Не прикажешь ли свести его в приказную³ да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительной. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие? — сказал он мне, подмигивая. — Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

— Добро, — сказал Пугачев. — Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

— Слава богу, — отвечал я, — все благополучно.

— Благополучно? — повторил Пугачев. — А народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

— Ты видишь, — подхватил старичок, — что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

¹ Наговор — поклеп, клевета.

² Супостат (устар.) — враг.

³ Приказная (приказная изба) — помещение, где допрашивали арестованных.

— Полно, Наумыч, — сказал он ему. — Тебе бы все душисть да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

— Да ты что за угодник¹? — возразил Белобородов. — У тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно, — отвечал Хлопуша, — и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем² и обухом, а не бабьим наговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «рваные ноздри!»...

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородашки не вырвал!

— Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачев. — Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен, — сказал он, мигая и прищуриваясь. — Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба³ ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невеста! — закричал Пугачев. — Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! — Потом, обращаясь к Белобородову: — Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести; но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия⁴, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до

¹ Угодник — так верующие называют некоторых святых (буквально: человек, угодивший Богу).

² Кистень — старинное ручное оружие (тяжелый набалдашник на короткой рукоятке).

³ Зазноба (народн.) — любимая, возлюбленная.

⁴ Оргия — попойка, шумная пирушка.

глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противоречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» – сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилося. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! Стой!» – раздался голос, слишком мне знакомый, – и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка Петр Андреич! – кричал дядька. – Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» – «А, старый хрыч! – сказал ему Пугачев. – Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

– Спасибо, государь, спасибо, отец родной! – говорил Савельич, усаживаясь. – Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил¹ и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану.

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслышал, или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровавых привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом...

Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробежал по моему телу, и волосы становились дыбом... Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

— О чем, ваше благородие, изволил задуматься?

— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя.

— Что ж? — спросил Пугачев. — Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— И ты прав, ей-богу прав! — сказал самозванец. — Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытаться и повесить; но я не согласился, — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, — помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит об мне ваша братья.

Я вспомнил взятие Белогорской крепости, но не почел нужным его оспаривать и не отвечал ни слова.

— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да! — сказал он с веселым видом. — Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?»

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.

— Сам как ты думаешь? — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фридрихом¹?

— С Федором Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса:

— Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою.

— То-то! — сказал я Пугачеву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся. «Нет, — отвечал он, — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать, как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою».

¹ Фридрих («Федор Федорович») — Фридрих II (1712–1786), прусский король, армия которого в середине XVIII века была разгромлена русскими войсками.

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

— Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего на-все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка?

— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погружаясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.



Глава XII

Сирота

Как у нашей у яблоньки
Ни верхушки нет, ни отросточек,
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился, но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» — Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия¹ прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузьмич, усыпленный

ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном и вдруг спросил его неожиданно: «Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее».

Швабрин побледнел как мертвый. «Государь, — сказал он дрожащим голосом... — Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит».

«Веди же меня к ней», — сказал самозванец, вставая с места. Отговариваться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице. «Государь! — сказал он. — Вы властны требовать от меня, что вам угодно, но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей».

Я затрепетал. «Так ты женат!» — сказал я Швабрину, готовясь его растерзать.

— Тише! — прервал меня Пугачев. — Это мое дело. А ты, — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом: «Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку».

— Отворяй! — сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье, сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрину и сказал с горькой усмешкою: «Хорош у тебя лазарет!» Потом, подошед к Марье Ивановне: «Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?»

— Мой муж! — повторила она. — Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрину: «И ты смел меня обманывать! — сказал он ему. — Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?»

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на

дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился. «Милую тебя на сей раз, — сказал он Швабрину, — но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта». Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково: «Выходи, красная девица; дарю тебе волю. Я государь».

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

— Что, ваше благородие? — сказал, смеясь, Пугачев. — Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженным отцом, Швабрин дружкой¹; закутим, запьем — и ворота за-прем!

Чего я опасался, то и случилось, Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя. «Государь! — закричал он в испуге. — Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости».

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. «Это что еще?» — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостью.

— Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

— И то правда, — сказал, смеясь, Пугачев. — Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.

— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизни моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши, как начал: отпусти меня с бедною сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел ему выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остоленый. Пугачев отправился

осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне; я сейчас туда же буду». Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич, — говорила попадья. — Привел Бог опять увидиться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили! Как он это вас не уколошил? Добро, спасибо злодею и за это». — «Полно, старуха, — прервал отец Герасим. — Не все то ври¹, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании². Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались».

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расставаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, слыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная! — говорила Акулина Памфиловна. — Промчи Бог тучу мимо. Ай-да Алексей Иваныч, нечего сказать: хорош гусь!» — В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему, просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время. Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевавшем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагоприятное отношение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье и вменит себе

¹ См. сноску 3 на с. 174.

² Многословие не даст спасения (старослав.).

в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец. — Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противоречил. Мы поцеловались горячо, искренно — и таким образом все было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». — Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! Прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! — говорила добрая попадья. — Счастливый путь, и дай Бог вам обоим счастья!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

Арест

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.

— Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Княжнин.



Соединенный так нечаянно с милой де-
вушкой, о которой еще утром я так мучи-
тельно беспокоился, я не верил самому себе
и воображал, что все со мною случившееся
было пустое сновидение. Марья Ивановна
глядела с задумчивостию то на меня, то на
дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы
молчали. Сердца наши слишком были утомлены.

Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней
крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили
лошадей. По скорости, с какой их запрягали, по торопливой
услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в ко-
менданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас
привезшего, меня принимали как придворного временщика¹.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближались к
городку, где, по словам бородатого коменданта, находился силь-
ный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были оста-
новлены караульными. На вопрос: «кто едет?» — ямщик отвечал
громогласно: «Государев кум со своею хозяйюшкой». Вдруг толпа
гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! —
сказал мне усатый вахмистр². — Вот уж тебе будет баня, и с твоею
хозяйюшкой!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их на-
чальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр
повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая
про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Госпо-
ди Владыко! чем это все кончится?» — Кибитка шагом поехала за
нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному.
Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить.
Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию
некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог³, а хо-
зяюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с
ума сошел?

¹ Временщик — человек, достигший большой власти вследствие близости к царю или царице.

² Вахмистр — унтер-офицер в кавалерии.

³ Острог — тюрьма, арестантская.

— Не могу знать, ваше благородие, — отвечал вахмистр. — Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк¹. Майор метал². Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иваныч! ты ли?

— Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку³?

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

— Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.

— Не могу: я не один.

— Ну, подавай сюда и товарища.

— Я не с товарищем; я... с дамою.

— С дамою? Где же ты ее подцепил? Эге, брат! (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

— Ну, — продолжал Зурин, — так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попиrowали по-старинному... Гей! малый! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный, ничем не обидит, да хорошенько ее в шею.

— Что ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставляю ее.

— Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что же это значит?

— После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушай меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим, а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять

¹ Банк — карточная азартная игра.

² Метать — здесь: держать банк, т.е. вести игру, поставить деньги на кон.

³ Поставить карту — здесь: принять участие в карточной игре.

в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж я чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы.

Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтобы на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностью. «Друг ты мой, Архип Савельич! — сказал я ему. — Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней».

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неопisanного. «Жениться! — повторил он. — Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?»

— Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем¹, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич! — отвечал он. — Хотя раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она тихим голосом. — Придется ли нам увидеться или нет, Бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рас-

¹ Ходатай — заступник, защитник.

сеять; мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни при виде наших войск приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостью Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то же время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидели. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на Сибирских заводах, собрал там новые шайки и снова начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу.

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено; помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном¹. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе не сдобровать! Женишься – ни за что пропадешь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, Емеля! – думал я с досадою, – зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать».

¹ Михельсон И.И. (1740–1807) – во времена Пугачевского восстания подполковник, впоследствии генерал. Один из усмирителей Пугачевского восстания.

Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марию Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. — «Маленькая неприятность, — отвечал он, подавая мне бумагу. — Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань, в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! — сказал Зурин. — Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев, устрасала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.

Глава XIV

Суд

Мирская молва —
Морская волна.
Пословица.

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решил перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.



Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посреди сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепи и заковали наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, изливаемой из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил, с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагой, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что, каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер, — сказал он мне нахмурясь, — но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

— Каким же образом, — возразил мой допросчик, — дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое зна-

комство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

«На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении¹ и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...»

Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?» Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если я назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать ее между гнусными извещениями² злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея*. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления моего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседел; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что, наконец, явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменни-

¹ Смятёние — здесь: смута, мятеж, беспорядок.

² Извёт (устар.) — донос, клевета.

ков, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, — как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили, чем могу опровергнуть показания Швабрина, я ответил, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слышал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренне привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустой блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностью и осторожностью.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа¹ он объявил ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастью, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать

преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горечь его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как! — повторял он, выходя из себя. — Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур¹ мой умер на лобном месте², отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец пострадал вместе с Волинским и Хрущевым³. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастья. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он навистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург? — сказала она. — Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка! — сказал он ей со вздохом. — Мы твоему счастью помехи сделать не хотим. Дай Бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкой, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила Бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась

¹ Пращур — предок.

² Лобное место — возвышение на Красной площади в Москве. По преданию, возле него казнили важных государственных преступников.

³ Волинский А.П., Хрущев А.Ф. — видные государственные деятели XVIII века, сторонники ограничения самодержавия, казнены за «государственную измену».

в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит наречённой¹ моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию² и, узнав, что Двор³ находился в то время в Царском Селе, решила тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все тайнства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась, какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, — словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева⁴. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, с своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая прервала молчание.

- Вы, верно, не здешние? — сказала она.
- Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.
- Вы приехали с вашими родными?
- Никак нет-с. Я приехала одна.
- Одна! Но вы так еще молоды.
- У меня нет ни отца, ни матери.
- Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?
- Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

¹ Наречённая — объявленная, признанная всеми.

² София — почтовая станция недалеко от Царского Села под Петербургом.

³ Двор — царский двор (царь и приближенные к нему лица).

⁴ Румянцев П.А. (1725–1796) — крупный военачальник времен Екатерины II.

— Вы сирота: вероятно, жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня, — сказала она голосом еще более ласковым, — если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг ее лицо переменялось, — и Марья Ивановна, следившая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом. — Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.

— Ах, неправда! — воскликнула Марья Ивановна.

— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей-богу, неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. — Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились? — спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, промолвила с улыбкой: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вышла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чаю только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца и камер-лакей¹ вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти, господи! —

¹ Камер-лакей — придворный слуга.

закричала она. – Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете. Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном¹?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед ней отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную² государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкой: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру³».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и по-



¹ Роброн (устар.) – широкое женское платье.

² Уборная – здесь: комната, где одеваются и приводят себя в порядок (от слова убираться – украситься, нарядиться).

³ Свёкор – отец мужа.

целовала. Государыня разговорила с нею. «Знаю, что вы не богаты, — сказала она, — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению¹; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от*** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный² эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель. 19 окт. 1836.



Уральский комендант приводит Пугачева к Суворову

¹ Именное повеление — повеление царя или царицы.

² Приличный — здесь (устар.): подходящий, соответствующий.



1. Проследи, как строится повесть. Подумай, почему Пушкин выбрал такую форму повествования, как «семейственные записки».
 2. Какие нравственные проблемы поднимает Пушкин в повести? Сформулируй главную.
 3. Найди дополнительную историческую информацию о восстании Пугачева и подготовь необходимый исторический комментарий к тексту повести.
 4. Проследи, как развивается характер Петра Гринёва. В качестве примера выбери два эпизода со схожим сюжетом (например, сцена возврата короткого долга и сцена дарения заячьего тулупа).
 5. Расскажи о Гринёве по плану:
 - 1) портрет (как он характеризует героя);
 - 2) речь (ее особенности, о чем они говорят);
 - 3) взаимоотношения с другими героями, кто и что о нем говорит;
 - 4) герой и его поступки (какие качества проявляются в его поведении);
 - 5) отношение автора к герою, твое отношение к нему.
- Попробуй рассказать о герое с позиции другого персонажа (Савельича, Маши, Швабрина, Пугачева и др.).
6. Чем Швабрин отличается от Гринёва и от всех других обитателей крепости?
 7. Найди страницы повести, исполненные авторской иронии. По отношению к кому из героев автор особенно ироничен?
 8. Объясни причины особого отношения Пугачева к Гринёву. Что, по-твоему, побудило Пугачева помиловать врага?
 9. Сформулируй, в чем заключается смысл жизни главных героев повести, в чем они видят свое предназначение?
 10. Объясни смысл эпиграфа к повести в целом и к каждой главе в отдельности.
- (ТР) 11. Подготовь творческий пересказ одного из эпизодов повести от имени вымышленного героя.
12. «Капитанская дочка» – последняя повесть Пушкина. Писатель указал священную для себя дату – 19 октября. Найди самостоятельно информацию об этой особой для Пушкина дате.



Моцарт и Сальери

Сцена I

Комната.

Сальери

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Родился я с любовью к искусству;
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался — слезы
Невольные и сладкие текли.
Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолея
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить, но в тишине, но втайне,
Не смея помышлять еще о славе.
Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
Вкусив восторг и слезы вдохновения,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденные,
Пылая, с легким дымом исчезали.
Что говорю? Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался



И встречным послан в сторону иную?
Уильным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой. Слава
Мне улыбнулась; я в сердцах людей
Нашел созвучия своим созданьям.
Я счастлив был: я наслаждался мирно
Своим трудом, успехом, славой; также
Трудами и успехами друзей,
Товарищей моих в искусстве дивном.
Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда! — ниже, когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Ниже, когда слышал в первый раз
Я Ифигении¹ начальные звуки.
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею бессильно?
Никто!.. А ныне — сам скажу — я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. — О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Входит Моцарт.

Моцарт

Ага! увидел ты! а мне хотелось
Тебя неожиданной шуткой угостить.

Сальери

Ты здесь! — Давно ль?

Моцарт

Сейчас. Я шел к тебе,
Нес кое-что тебе я показать;
Но, проходя перед трактиром, вдруг
Услышал скрипку... Нет, мой друг Сальери!
Смешнее отроду ты ничего
Не слыхивал... Слепой скрипач в трактире

Разыгрывал voi che sapete¹. Чудо!
Не вытерпел, привел я скрипача,
Чтоб угостить тебя его искусством.
Войди!

Входит слепой старик со скрипкой.

Из Моцарта нам что-нибудь!

Старик играет арию из Дон-Жуана;
Моцарт хохочет.

Сальери
И ты смеяться можешь?

Моцарт

Ах, Сальери!
Ужель и сам ты не смеешься?

Сальери

Нет!

Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери.
Пошел, старик.

Моцарт

Постой же: вот тебе,
Пей за мое здоровье.

Старик уходит.

Ты, Сальери,
Не в духе нынче. Я приду к тебе
В другое время.

Сальери

Что ты мне принес?

Моцарт

Нет – так; безделицу. Намедни ночью
Бессонница моя меня томила,
И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня их я набросал. Хотелось
Твое мне слышать мненье; но теперь
Тебе не до меня.

Сальери

Ах, Моцарт, Моцарт!
Когда же мне не до тебя? Садись;
Я слушаю.

¹ О вы, кому известно (ит.). Ария Керубино из 3-го акта оперы Моцарта «Свадьба Фигаро».

Моцарт
(за фортепиано)

Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня – немного помоложе;
Влюбленного – не слишком, а слегка –
С красоткой, или с другом – хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...
Ну, слушай же.

(Играет.)

Сальери
Ты с этим шел ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрипача слепого! – Боже!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя.

Моцарт

Что ж, хорошо?

Сальери

Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.

Моцарт

Ба! право? может быть...
Но божество мое проголодалось.

Сальери

Послушай: отобедаем мы вместе
В трактире Золотого Льва.

Моцарт

Пожалуй;
Я рад. Но дай схожу домой сказать
Жене, чтобы меня она к обеду
Не дожидалась.

(Уходит.)

Сальери

Жду тебя; смотри ж.
Нет! не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить – не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой...
Что пользы, если Моцарт будет жив

И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.



Вот яд, последний дар моей Изоры.
Осьмнадцать лет ношу его с собою —
И часто жизнь казалась мне с тех пор
Несносной раной, и сидел я часто
С врагом беспечным за одной трапёзой,
И никогда на шепот искушенья
Не преклонился я, хоть я не трус,
Хоть обиду чувствую глубоко,
Хоть мало жизнь люблю. Всё медлил я.
Как жажда смерти мучила меня,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесет незапные дары;
Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь и вдохновенье;
Быть может, новый Гайден сотворит
Великое — и наслажуся им...
Как пировал я с гостем ненавистным,
Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты —
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.
И я был прав! и наконец нашел
Я моего врага, и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил!
Теперь — пора! заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.

Сцена II

Особая комната в трактире; фортепиано.

Моцарт и Сальери за столом.

Сальери

Что ты сегодня пасмурен?

Моцарт

Я? Нет!

Сальери

Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?

Обед хороший, славное вино,
А ты молчишь и хмуришься.

Моцарт

Признаться,
Мой Requiem меня тревожит.

Сальери

А!
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?

Моцарт

Давно, недели три. Но странный случай...
Не сказывал тебе я?

Сальери

Нет.

Моцарт

Так слушай.

Недели три тому, пришел я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего — не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Наавтра тот же
Зашел и не застал опять меня.
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать — и с той поры за мною
Не приходил мой черный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. Но между тем я...

Сальери

Что?

Моцарт

Мне совестно признаться в этом...

Сальери

В чем же?

Моцарт

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду

Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

Сальери

И, полно! что за страх ребячий?
Рассей пустую думу. Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти „Женитьбу Фигаро“».

Моцарт

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него «Тарара»¹ сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив...
Я всё твержу его, когда я счастлив...
Ла ла ла ла... Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери

Не думаю: он слишком был смелон
Для ремесла такого.

Моцарт

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство –
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сальери

Ты думаешь?

(Бросает яд в стакан Моцарта.)

Ну, пей же.

Моцарт

За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.
(Пьет.)

Сальери

Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?



¹ Опера Сальери на слова Бомарше.

Моцарт

(Бросает салфетку на стол.)

Довольно, сыт я.

(Идет к фортепиано.)

Слушай же, Сальери,

Мой Requiem.

(Играет.)

Ты плачешь?

Сальери

Эти слезы

Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...
Не замечай их. Продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу...

Моцарт

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!

Сальери

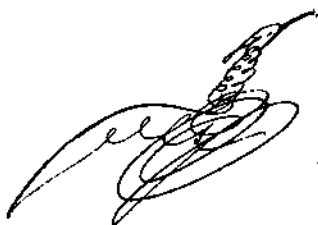
До свиданья.

(Один.)

Ты заснешь

Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы – и не был
Убийцею создатель Ватикана?

1830





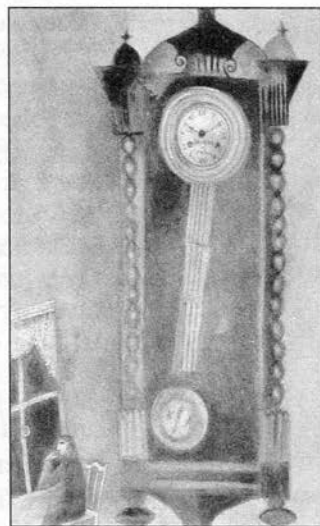
1. Чем отличаются друг от друга Моцарт и Сальери?
2. Как ты думаешь, почему игра старика забавляет Моцарта, а Сальери приводит в гнев?
3. Что символизирует «черный человек», о котором рассказывает Моцарт?
4. Что говорит о Сальери его первый монолог? Почему Сальери отравил Моцарта?
5. Каким образом рисуется характер Сальери в пьесе?
6. Как ты считаешь, действительно ли «гений и злодейство – две вещи несовместные»? Можно ли назвать Сальери законченным злодеем?
- (С) 7. Какой конфликт лежит в основе трагедии? Проследи его развитие.
- (С) 8. Как ты думаешь, почему А.С. Пушкин назвал это произведение маленькой **трагедией**? Оправдано ли такое название? Обдумывая ответ на этот вопрос, прочитай статью о трагедии в словарики литературоведческих терминов в конце учебника.
9. А оправдано ли название **маленькая трагедия**? Может ли трагедия быть маленькой?
- (П) 10. Вспомни или перечитай «Маленькие сказки о детстве Моцарта» Г. Цыферова (книга для чтения «В одном счастливом детстве»). Есть ли что-то общее в создании образа главного героя – композитора Моцарта у двух писателей?
- (П) 11. Можно ли найти общие черты у Петра («Слепой музыкант») и Моцарта («Моцарт и Сальери»)?
12. Выражение «Моцарт и Сальери» приобрело нарицательное значение. Попробуй его объяснить.

Н.П. Огарев

Хандра

Бывают дни, когда душа пуста:
Ни мыслей нет, ни чувств, молчат уста,
Равно печаль и радости постылы,
И в теле лень, и двигаться нет силы.
Напрасно ищешь, чем бы ум занять, –
Противно видеть, слышать, понимать,
И только бесконечно давит скука,
И кажется, что жить – такая мука!
Куда бежать? чем облегчить бы грудь?
Вот ночи ждешь – в постель! скорей заснуть!
И хорошо, что стало все беззвучно...
И сон нейдет, а тьма томит докучно!

Начало 1840-х





А.В. Макаревич

Пока горит свеча

Бывают дни, когда опустишь руки,
И нет ни слов, ни музыки, ни сил.
В такие дни я был с собой в разлуке
И никого помочь мне не просил.

И я хотел идти куда попало,
Закреть свой дом и не найти ключа,
Но верил я – не все еще пропало,
Пока не меркнет свет,
Пока горит свеча.

И спеть меня никто не мог заставить,
Молчание – начало всех начал.
Но если плечи песней мне расправить,
Как трудно будет сделать так, чтоб я молчал.

И пусть сегодня дней осталось мало,
И выпал снег, и кровь не горяча –
Я в сотый раз опять начну сначала,
Пока не меркнет свет, пока горит свеча.

1979



1. Есть ли что-то общее в настроении, которым проникнуты стихотворения А.С. Пушкина «Дар напрасный...» (с. 167) и Н.П. Огарева «Хандра»? Чем может быть вызвано подобное настроение?
2. Созвучны ли по настроению или, скорее, различаются стихотворения Н.П. Огарева и А.В. Макаревича?
3. Как ты понимаешь строчки из стихотворения «Пока горит свеча»: «... я был с собой в разлуке», «... если песней плечи мне расправить», «... пока не меркнет свет, пока горит свеча»?
4. Какое из этих трех стихотворений ты бы назвал философским? Почему?
- (С) 5. Дай характеристику настроения лирического героя стихотворения Н.П. Огарева. Можно ли его назвать сиюминутным?
6. О чем стихотворение А. Макаревича? Определи его основной мотив.
7. Сравни построение стихотворений. Чем можно объяснить отсутствие деления на строфы стихотворения Н.П. Огарева?
- (ТР) 8. Напиши свое лирическое размышление «Бывают дни...».

3 ноября. Как сегодня моему настроению созвучно стихотворение Огарева «Хандра». Но спать еще рано, попробую писать. Странно: для хандры нет никаких причин. Знаю, что такое состояние называется «юношеской ипохондрией», но от этого не легче. Наверное, более всего одинокими мы бываем в юности, с годами мы привыкаем к одиночеству, и люди вокруг уже не так нам и нужны. Однажды отец сказал мне

слова, которые я часто вспоминаю: «В детстве нам необходимо общение с родителями, но им не до нас: у них свои проблемы, надо зарабатывать на жизнь... Потом мы подрастаем, а родители стареют, и им необходимо наше внимание, но теперь уже нам не до них». Неужели нельзя разорвать этот порочный круг? Не хочу, чтобы мои родители ощущали себя одинокими.

... Дам ли я когда-нибудь кому-нибудь прочитать свой дневник? Не знаю. Если он так же выворачивает мою душу наизнанку, как дневники Адриана Моула, Анны Франк или «Дневник пятнадцатилетней наркоманки», который недавно попался мне в одном журнале, то я бы не хотел, чтобы его кто-либо видел. Особый жанр – дневник: читаешь и со стороны видишь в человеке то, что не видит в себе он сам. Адриан Моул – глуповатый подросток, слишком любит себя, тоже мне интеллектурал, творческая личность! Анна Франк – комплексующая девочка, а «Дневник пятнадцатилетней наркоманки» – просто летопись разрушения личности (с одним моим знакомым было нечто подобное, и от этого тяжело). И все же почему эти личные дневники так популярны и читаемы? Чтобы мне не было стыдно за мои откровения в дневнике, стоит, пожалуй, перечитать лучший из дневников (на мой взгляд) – дневник Печорина. Это мое любимое место в «Герое нашего времени» Лермонтова.

Два часа ночи. Не спится. А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на 6 шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб... но мы бросим жребий!.. и тогда... тогда... что если его счастье перетянет? если моя звезда наконец мне изменит?... И немудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? умереть так умереть: потеря для мира небольшая: да и мне самому порядочно уж скучно.



Лермонтов с сослуживцами на привале
в Темир-Хан-Шуре в 1840 г.

Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова... прощайте!..

Пробегаю в памяти всё мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначенья, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаленья... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья — и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображенья, и ему кажется легче... но только проснулся, мечта исчезает... остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец!.. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а всё живешь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!

Вот уже полтора месяца, как я в крепости N; Максим Максимыч ушел на охоту. Я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно, ветер свищет и колеблет ставни. Скучно. Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями.

Перечитываю последнюю страницу: смешно! Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий, и теперь чувствую, что мне еще долго жить.

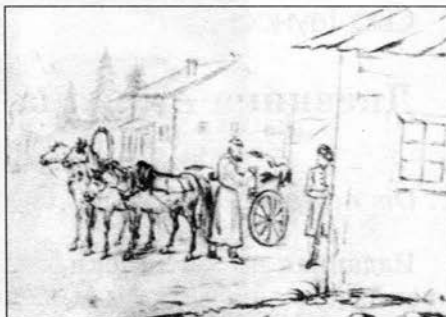
Как всё прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время.

Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские Пуритане». Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом. Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..

(Из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»)



Тамань. Рисунок Лермонтова. 1837



Тройка на деревенской улице.
Рисунок Лермонтова. 1832–1834

?

ДАВАЙ ПОДУМАЕМ НАД ВОПРОСАМИ

1. Согласен ли ты с утверждением Алексея, что в юности человек всегда одинок? Что такое одиночество?
2. Подумай над словами отца нашего героя. Можно ли разорвать «этот порочный круг»? Кто же должен это сделать?
3. Какое представление о Печорине – герое романа М.Ю. Лермонтова – у тебя сложилось после чтения его дневника? Сколько «я» Печорина видно из его откровений?
4. Как ты думаешь, чем могли привлечь Алексея именно эти страницы дневника Печорина?
5. Если ты еще не читал этот роман, но знаешь, что его автор – М.Ю. Лермонтов, книга написана им в 1840–1841 гг. в возрасте 27 лет и принадлежит к лучшим произведениям русской классической литературы, Печорин – главный герой романа, и ты прочел фрагмент из его дневника, какие предположения о содержании романа, об особенностях его построения ты можешь высказать? Захотелось ли тебе проверить свои предположения?
6. Мы предлагаем тебе прочитать фрагменты дневников, о которых упоминает Алексей. Подумай, согласен ли ты с той оценкой, которую дает их авторам наш герой.

Дневники Адриана Моула

От переводчика

Изданная по-английски, эта книга разошлась в пяти миллионах экземпляров. Затем была переведена на шестнадцать языков («в том числе даже на русский», — с усердием отметила публикацию отрывка из нее в журнале «Иностранная литература» лондонская «Таймс»). Книга инсценирована, и пьеса с огромным успехом прошла в Англии и США. Книга экранизирована (выпущен многосерийный фильм Би-би-си). Книгу читают по радио, она не выходит из списков бестселлеров. И это на огромном книжном рынке.

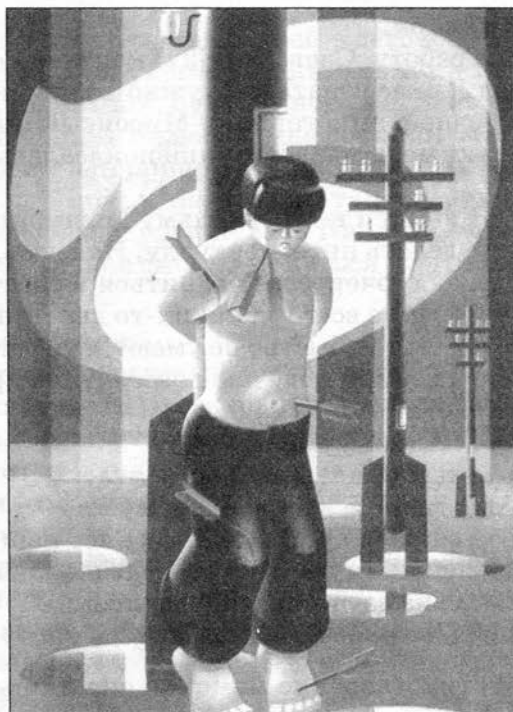
Почему книга пользуется успехом, почему ее героя — английского подростка, мнящего себя интеллектуалом и талантливым поэтом, сравнивают с героями Диккенса, и почему он уже вошел в жизнь и быт англосаксонского, да и не только англосаксонского мира, читатель догадается сам. Но кто эта, доселе неизвестная писательница?

В точности наблюдений, в доскональном знании предмета нет ничего удивительного. Герой Сьюзен Таунсенд выходец из той же среды, что и она сама. Ее родители были автобусными кондукторами. В 18 лет вышла замуж за рабочего-металлиста. Трое детей и трудная жизнь. Рано утром муж уезжал на велосипеде в шум и грохот цеха, поздно вечером возвращался в шум и грохот дома. Сью Таунсенд писала в свое время, что понимает, почему первый муж оставил ее: «Когда мы поженились, ему было 19. Работал он тяжело и много, получал за свой труд гроши. После платы за квартиру, отопление и еду не оставалось ничего. Просто ни пенни».

Что помогало держаться на плаву одинокой многодетной матери, не имеющей ни профессии, ни образования? (Школу оставила в 15 лет.) Сила воли, любовь к чтению, с детства привитая родителями, трудолюбие. Неудивительно, что два года назад сорокалетняя женщина, мать четверых детей, хозяйка дома и — к этому всему — автор завоевавших признание массового читателя книг, «доработалась» до инфаркта.

Выпустив первые две части книги, Сьюзен Таунсенд поклялась себе сделать перерыв и вернуться к Адриану Моулу в 1992 году, когда тот подрастет. Не тут-то было. Читательский спрос на ее героя можно представить хотя бы по этой фразе из письма одного из них: «Не напишете третью часть — напишу за вас сам, а там хоть в тюрьму сажайте, все равно сяду довольным».

Вы, наверное, поймете его, прочитав книгу.



Часть первая

**Тайный дневник Адриана Моула,
тринадцати лет и девяти месяцев от роду**

Вторник, 1 января.

Выходной день в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе.

Я твердо решил в Новом году:

1. Переводить слепых через дорогу.
2. Вешать брюки на место.
3. Вкладывать диски обратно в чехлы.
4. Ласково обращаться с собакой.
5. Быть добрым к бедным и невежественным.
6. Не выдавливать больше прыщи.
7. Не начинать курить.

8. Наслушавшись вчера отвратительных звуков из гостиной, я также поклялся не прикасаться к алкоголю.

На вчерашней вечеринке папа напоил пса шерри-бренди. Прознай об этом Королевское общество защиты животных от жестокого обращения, тут бы папаша и спекся. С Рождества уже восемь дней, а мама так и не надела ни разу зеленый с люрексом фартук, который я ей подарил. В следующий раз подарю ей ванне принадлежности.

Везет мне как утопленнику! Первый день нового года, а на подбородке вылез прыщ!

Вторник, 13 января.

Папа вышел на работу. Слава богу!!! И как только мама его терпит! Утром зашел Люкас узнать, не нужно ли чем помочь маме по дому. Очень любезно с его стороны. Миссис Люкас в это время мыла у себя наружные рамы. Лестница показалась мне довольно хлипкой.

Я обратился в Би-би-си к Малькольму Маггериджу с вопросами, как быть и что делать интеллектуалу. Надеюсь, он быстро ответит, а то мне уже осточертевает вариться в собственном соку. Я написал стихотворение всего за каких-то две минуты. Даже самые знаменитые поэты так быстро не умеют. Стихотворение называется «Кран», но на самом деле оно вовсе не про кран, оно очень глубокое – про жизнь и всякое такое.

«Кран». Автор – Адриан Моул:

Кран течет так, что просто ужас.

Будит меня, а к утру будет лужа.

Нету в кране прокладки – сгниет наш ковер.

Снова папе гнуть спину – ведь он же не вор.

Эдак папа загнется, себя не щадя.

Пап! Поставь-ка прокладку! Не будь как дитя!

Я показал это стихотворение маме, но она лишь рассмеялась. Мама у меня не очень развитая. До сих пор не постирала спортивную форму, а завтра – физра. В телефильмах мамы совсем не такие.

Среда, 14 января.

Записался в библиотеку. Взял «Уход за кожей», «Происхождение видов» и книгу одной тетки, которой мама мне давно проела плешь: «Гордость и предубеждение» какой-то Джейн Остин. Я заметил, что мой выбор книг впечатлил библиотекаря. Тоже, должно быть, интеллектуалка вроде меня. На прыщ мой даже и не взглянула. Наверное, он уже проходит. Давно пора!

Мистер Люкас с мамой сидели на кухне, пили кофе. Накурили, хоть топор вешай. Они смеялись, но замолчали, когда я вошел.

Миссис Люкас чистила сточную канаву у своего дома напротив нас и казалась очень недовольной. Сдается мне, у Люкасов несчастливый брак. Бедный Люкас!

Никто из учителей в школе и не заметил, что я – интеллектуал. Пожалеют, когда прославлюсь. У нас в классе новенькая. На географии сидит рядом со мной. Ничего девочка. Звать Пандора, но откликается лишь на «Ящик Пандоры». Ни фиги себе, а? Пожалуй, я в нее влюблюсь. Пора бы уже влюбиться; как-никак мне 13 лет и девять месяцев.

Понедельник, 19 января.

В школе основали группу «Милосердных самаритян». Я тоже вступил. Будем помогать людям – и все такое. По понедельникам освобождают от математики. Сегодня распределяли обязанности. Мне достались старики пенсионеры. А Найджилу выпало жуткое

фуфло: присматривать за малышкой в детском саду. Он аж позеленел от злости. Следующего понедельника жду не дождусь. Возьму с собой кассетник, буду записывать, как старичье вспоминает войну и все такое. Надеюсь, мне достанется памятливым дед.

Пес наш снова у ветеринара – между когтями бетон застыл. Неудивительно, что ночью он поднял такой грохот на лестнице. В школе за обедом мне улыбнулась Пандора, но в этот момент я подавился хрящом и не смог улыбнуться ей в ответ. Ну вечно мне не везет!

Суббота, 24 января.

Сегодня – самый страшный день моей жизни. Маму с ее дурацкой машинописью взяли в страховую компанию, где работает мистер Люкас. Он будет возить ее на службу.

Папа сильно не в духе – боится неминуемой катастрофы.

Но хуже всего: Берт Бакстер – вовсе не милый пенсионер-старичок! Он курит, пьет и держит огромную овчарку по кличке Сабля. Пока я подрезал разросшийся кустарник, ее заперли в сарай и она все время выла.

А самое ужасное – Пандора ходит с Найджилом!!! Вот уж этого я точно не переживу.

Суббота, 7 февраля.

Папа с мамой кричали друг на друга без остановки несколько часов подряд. Началось с ломтика бекона, завалившегося за холодильник, а перешло на то, во сколько обойдется ремонт папиной машины. Я поднялся к себе, поставил пластинку «Аббы». У отца хватило нахальства пнуть ногой дверь и потребовать, чтобы я сделал звук тише. Я сделал. Когда он спустился вниз, снова врубил на полную катушку.

Ужина никто не приготовил, так что я отправился в китайскую харчевню, купил кулек жареной картошки и соевый соус. Присел поесть на автобусной остановке, потом мне стало грустно, я погулял. Вернулся домой. Накормил собаку. Лег спать.

Пятница, 13 февраля.

Ну и день выдался – сплошная невезуха.

Пандора больше не сидит рядом со мной на географии, вместо нее присоседился Барри Кент. Знай сдувает у меня и щелкает пузырем из жвачки прямо мне в ухо. Пожаловался мисс Элф, но та Барри сама боится, поэтому ничего ему не сказала.

Пандора сегодня выглядела, как картинка, надела юбку с разрезом, хорошо показывающую ноги. На одном колене у нее струп. Повязала вокруг запястья шарф, в котором Найджил играет в футбол, но мисс Элф заметила и велела снять. Пандоры мисс Элф не боится. Я ей послал открытку, поздравил с Валентиновым днем. (Пандоре то есть, а не мисс Элф.)

Понедельник, 16 февраля.

Празднование дня рождения Джорджа Вашингтона.

Письмо из Би-би-си!!! Длинный белый конверт, а на нем боль-



шими красными буквами: Би-би-си. И мое имя с адресом! Неужели хотят заказать мне стихи? Увы, нет. Но в конверте письмо от некоего Джона Тайдемана. Вот что он пишет:

«Уважаемый Адриан Моул,

Благодарю за стихи, которые вы прислали в Би-би-си и которые попали ко мне. Я прочитал их с интересом и, принимая во внимание ваши юные годы, должен признать, что в них есть что-то обнадеживающее. Однако они недостаточно профессиональны, чтобы рассматриваться для использования в наших поэтических передачах. Не подумывали ли вы предложить их школьному или приходскому журналу (если у вас таковые имеются)?

Если в будущем вы вновь пожелаете прислать ваши работы в Би-би-си, то просил бы вас переписывать их на машинке, оставляя также копию и себе. Обычно Би-би-си вообще не рассматривает материалы, написанные от руки. Хотя ваши стихи были написаны очень аккуратно, мне было довольно трудно разобрать все слова – особенно в конце стихотворения «Кран», где чернила расплылись изрядным пятном (слеза? или пролитый чай? или потек ваш «Кран»?). Поскольку вы стремитесь посвятить себя литературе, советую обрасти толстой кожей, чтобы научиться принимать многие неизбежные будущие отказы издателей, не теряя присутствия духа и с минимальными переживаниями.

Желаю вам всего наилучшего в будущей литературной деятельности и – прежде всего – желаю удачи!

Искренне ваш, Джон Тайдеман.

P.S. Прилагаю стихотворение некоего Джона Моула, опубликованное в «Таймс литературри сапплемент». Не родственник ли он вам? Стихи отличные».

Письмо произвело впечатление на родителей. Я все время доставал его и перечитывал в школе. Надеялся, что кто-нибудь из учителей заметит и спросит, что это, но никто не обратил внимания.

Берт прочитал письмо, пока я мыл его треклятую посуду. Сказал, что «все они там в Би-би-си сплошные наркоманы». Дядя его шурина когда-то жил по соседству с официанткой из буфета дома радиовещания, так что Берт знает о Би-би-си все.

Пандора получила 17 открыток в Валентинов день. Найджил – семь. Даже всем ненавистный Барри Кент – и тот получил три. Я же лишь улыбался в ответ на вопрос, сколько открыток получил. Зато я единственный в школе, кому пишут из Би-би-си.

Вторник, 17 февраля.

Барри Кент пригрозил меня отделать, если я не буду платить ему двадцать пять центов в день. Я ответил, что вымогать у меня деньги – только зря время тратить. Мама кладет мои карманные

деньги на счет строительного общества¹, а мне выдает пятнадцать центов в день на шоколадку. Тогда Барри Кент потребовал, чтобы я платил ему из денег на завтраки. Я объяснил, что деньги на завтраки отец переводит чеком, потому что их набегает до шестидесяти пенсов в день. Барри врезал мне под дых и отвалил, пообещав на прощанье еще.

Я пошел устраиваться разносчиком газет.

Понедельник, 23 февраля.

Получил письмо от мистера Черри, хозяина газетной лавки. Могу начать разносить газеты с завтрашнего дня. Всю жизнь мечтал!

Понедельник, 2 марта.

Только что заходила мама, объявила, что должна сообщить мне нечто ужасное. Я сел на постели и принял серьезное выражение на случай, если ей осталось жить полгода или ее поймали с поличным за кражей в магазине. Мама дергала шторы, обсыпала сигаретным пеплом мою модель «Конкорда» и мычала что-то о «взаимоотношениях взрослых», о «сложности жизни» и о том, что ей необходимо «обрести себя». Потом сказала, что очень ко мне привязана. Привязана!!! И что не может причинить мне боль. Потом добавила, что брак для женщины – иногда все равно что тюрьма. И ушла.

Ничего себе – тюрьма! Женщин каждый день выпускают из дома в магазин, а многих даже на работу. Что-то мамочку на мелодраму потянуло.

Понедельник, 9 марта.

День содружества наций.

Перед доставкой газет вычистил туалет, мойку и ванну. Разнес газеты, вернулся домой. Приготовил завтрак, положил белье в стиральную машину, пошел в школу. Выплатил Барри требуемые им деньги, пошел к Берту Бакстеру. Пообедал в школе. Потом было домоводство, пекли шарлотку с яблоками. Вернулся из школы. Пропылесосил холл, гостиную, столовую. Почистил картошку, посекал капусту, порезал палец, смыл кровь с капусты. Насадил мясо на рашпер, посмотрел в поваренной книге, как делать соус. Приготовил соус. Очистил его от комочков, процедив через дуршлаг. Накрыл на стол, подал ужин, помыл посуду. Поставил отмачивать пригоревшие кастрюли. Достал из стиральной машины вещи. Все синее, даже белое белье и носовые платки. Развесил сушить. Накормил пса. Погладил физкультурную форму. Сделал уроки. Выгулял пса, принял ванну. Вымыл ванну. Сделал три чашки чаю. Вымыл чашки. Лег спать. Что за невезуха – иметь самоутверждающуюся маму.

¹ Финансово-кредитное учреждение: предоставляет долгосрочные ссуды для строительства или покупки жилья за счет средств, привлекаемых в виде краткосрочных вкладов населения.



Вторник, 12 марта.

Проснувшись утром, обнаружил, что все лицо пошло огромными красными прыщами. Мама говорит, что это нервное, но по-моему – от плохого питания. <...> Мама позвонила доктору Грэю записать меня на прием, но записаться только на следующий понедельник! Ничего себе!

А если у меня проказа и я ею весь район заражу, что тогда? Я попросил маму сообщить врачу, что у меня – неотложный случай, но она ответила, что я «вечно преувеличиваю». От прыщей, говорит, еще никто не умирал. Я ушам своим не поверил, когда услышал, что она, как ни в чем не бывало, собирается на работу. Неужто работа ей дороже собственного сына?

Пятница, 13 марта.

Луна в первой четверти.

Вчера в полдвенадцатого ночи бабушка вызвала неотложку. Врач поставил диагноз: *acne vulgaris*¹. Для подростка, говорит, самое обычное дело. На проказу, говорит, никак не похоже, поскольку в Африку в этом году я не ездил.

Бабушка пригрозила пожаловаться на него в управление здравоохранения, врач лишь рассмеялся и ушел, громко хлопнув дверью. Перед работой заехал папа, завез задание по обществоведению и пса. Пообещал спустить с меня шкуру, если я не подымусь с постели к тому времени, как он заскочит в обед. Потом заперся с бабушкой на кухне и долго орал. Я слышал: «У нас с Полиной полный расколосец, вот только не можем решить, кому не брать Адриана».

Папа, конечно, оговорился. Он, безусловно, имел в виду, кому брать.

Итак, случилось самое страшное – кожа моя окончательно запаршивела, а родители расходятся.

Четверг, 19 марта.

Мистер Люкас продает дом. Мама говорит, что он хочет за него тридцать тысяч!

На что ему такая куча денег? Мама говорит, что купит другой дом, побольше. Вот дурак-то.

Будь у меня тридцать тысяч, объездил бы весь мир в познавательных целях. Наличных брать бы с собой не стал: читал, что все иностранцы – воры. Вместо наличных зашил бы в брюки на три тысячи дорожных чеков. А перед отъездом я бы:

1. Послал Пандоре три дюжины красивых роз.
2. Нанял за полсотни громилу вздуть Барри Кента.
3. Купил лучший в мире гоночный велик и ездил кругами вокруг дома Найджила.
4. Заказал большой ящик лучших собачьих консервов, чтобы пса хорошо кормили в мое отсутствие.
5. Нанял сиделку Бертю Бакстеру.

6. Дал тысячу фунтов родителям (по тысяче каждому), чтобы они не развелись.

Объездив весь мир, я бы вернулся домой высокий, загорелый, полный ироничных наблюдений, а Пандора ревела бы по ночам в подушку от отчаянья, что упустила шанс стать миссис Пандорой Моул. Я незамедлительно получил бы диплом ветеринара, а затем купил бы ферму. Одну комнату превратил бы в кабинет, чтобы иметь тихий уголок, где быть интеллектуалом.

А тратить тридцать тысяч на дом с общей стенкой с соседским — это извините!

Воскресенье, 22 марта.

Третье воскресенье Великого поста, переход на летнее время в Британии.

Сегодня день рождения бабушки. Ей семьдесят шесть, и по ней это видно. Подарил ей поздравительную открытку и цветок в горшке. Называется «Пятнистая лилия», а по-научному — «Диффенбахия»¹. На горшке пластиковый ярлычок с надписью: «Осторожно, яд». Бабушка спросила, кто выбрал цветок. Я ответил, что мама.

А бабушка, оказывается, рада-радешенька, что родители расходятся! Говорит, что всегда подозревала в маме склонность к распутству, и теперь видит, что была права.

Мне стало неприятно, что она так отзывается о маме, и я пошел домой.

Соврал бабушке, что меня ждет друг. Но на самом деле у меня больше нет друзей. Наверное, потому, что я — интеллектуал. Все, должно быть, испытывают почтительное смущение, общаясь со мной. Посмотрел в словаре, что такое «распутство». Не очень-то приятное слово!

Воскресенье, 29 марта.

Четвертое воскресенье Великого поста. Материнское воскресенье.

Папа дал мне вчера три фунта, сказал: «Купи, сынок, что-нибудь достойное маме, быть может — это в последний раз».

Ну не переться же мне из-за нее в город! Пошел в лавку мистера Черри, купил коробку конфет и открытку с надписью: «Чудной мамочке». Видно, изготовителям открыток все мамы кажутся чудом. В какую открытку ни глянь, везде «чудная» да «чудная». Хотел вычеркнуть «чудной» и вписать «распутной», да не стал. Подписал: «От твоего сына Адриана», и поднес ей сегодня утром. Она говорит: «Ой, что ты, Адриан, ну зачем». И впрямь — зачем?

Вынужден прерваться. Мама решила, что они все должны «поговорить как цивилизованные люди». Мистер Люкас придет к нам. Меня, конечно, участвовать не пригласили! Буду подслушивать под дверь.

¹ Растение из семейства ароидных, его родина — Бразилия. Ядовитые вещества, содержащиеся в стеблях и листьях, оказывают парализующее воздействие на мышцы языка и гортань. Названо по имени немецкого ученого Эрнста Диффенбаха.

Понедельник, 30 марта.

Ужас, что вчера было. Отец и Люкас подрались в палисаднике, и вся улица сбежалась смотреть! Мама пыталась их разнять, но оба только и рычали ей: «Не лезь». Мистер О'Лири хотел помочь папе, он все орал: «Навешай этому поганцу за меня, Джордж!» Миссис О'Лири кричала что-то ужасное в мамин адрес.

Мама уехала в Шеффилд с Люкасом.

Воскресенье, 5 апреля.

Страстное воскресенье.

Утром заскочил Найджил. Все сходит с ума по Пандоре. Пытался отвлечь его кожевенной промышленностью Норвегии, но он почему-то не проявил к ней интереса.

В час дня поднял с постели папу. С чего это он должен валяться в постели, когда я давно на ногах? Он встал и пошел мыть машину. Нашел мамину сережку, завалившуюся за сиденье, и долго сидел, уставившись на нее. Потом спросил:

– Ты скучаешь по маме, Адриан?

– Скучаю, – говорю. – Но жить-то надо!

– А на кой? – спросил папа.

Я решил, что он подумывает о самоубийстве, поэтому немедленно махнул наверх и убрал из ванной все опасные для жизни предметы.

Когда я мыл посуду после ужина (разогретый ростбиф), он завопил из ванной, где, мол, его бритва. Я лживо проорал в ответ, что не знаю. Затем убрал из кухонного стола ножи и другие острые предметы. Папа пытался побриться электробритвой на батарейках, но батарейки давно потекли и покрылись какой-то зеленой дрянью.

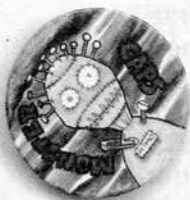
Я себя считаю человеком терпимым и широко мыслящим, но выражения, употребляемые папой, просто ни в какие ворота не лезут. И всего лишь навсего из-за того, что не смог побриться! Чаепитие вышло довольно занудным. Бабушка все поносила маму, а папа все стонал, как ему без нее плохо. А на меня и внимания никто не обращал, будто меня и в комнате не было! Псу и то уделялось больше внимания, чем мне!

Бабушка отчитала папу за небритое лицо. Говорит: – Ты, может, находишь забавным выглядеть под большевика, Джордж, но я этого забавным не нахожу.

И добавила, что дедушка ежедневно брился даже в траншеях под Ипром, хотя ему там приходилось отбивать мыло от крыс. Даже, говорит, в гробу дедушку и то побрили, так что если покойники уходят бритыми, живым уж никак не простительно небритыми ходить. Папа пытался ей объяснить, но бабушке объяснять трудно, потому что она говорит без пауз.

Мы оба облегченно вздохнули, когда она ушла.

Я потом разглядывал «Биг энд Баунси». Страстное все же таки воскресенье!



Четверг, 9 апреля.

Вчера говорили с папой по душам. Он спросил, с кем я предпочитаю жить — с мамой или с ним. Я сказал: «С обоими». Папа подружился с одной своей сослуживицей, зовут ее Дорин Слейтер. Папа хочет меня с ней познакомиться. Вот вам и убитый горем отчаявшийся брошенный муж!

Воскресенье, 12 апреля.

Вербное воскресенье.

Выходные, проведенные у Найджила, раскрыли мне глаза! Сам того не зная, я прожил последние четырнадцать лет своей жизни в нищете, мирясь с дурным жильем, скверной едой и жалкими грошами на карманные расходы! А если папа не способен обеспечить мне пристойный жизненный уровень при своей нынешней зарплате, пусть ищет другую работу. Все равно вечно ноет, как, мол, тяжело толкать электронагреватели! У Найджила-то папа как раб вкалывает, чтобы обеспечить своей семье современный уровень. Может, имей мой папа отделанный пластиком бар в нашей гостиной, мама и не ушла бы от нас. Так нет же! Он еще и гордится нашей столетней мебелью!

Следовало бы папочке прислушиваться к урокам великой литературы.

Мадам Бовари сбежала от своего кретина доктора, потому что тот не сумел удовлетворить ее запросы.

Среда, 13 мая.

Досконально обсудил проблему учебы с папой. Папа советует заниматься лишь теми предметами, которые мне даются. Говорит, что ветеринарам только и приходится, что лазить коровам под хвост или делать уколы раскормленным избалованным собакам. Так что я всерьез подумываю изменить свои планы на будущее.

Я не прочь бы стать ныряльщиком за губками, но боюсь, что в Англии эта профессия не пользуется большим спросом.

Четверг, 14 мая.

Мисс Спрокстон сделала мне замечание: мол, домашнее сочинение воском заляпано. Я объяснил, что задел свечу рукавом, когда делал уроки. Она прослезилась, назвала меня молодцом и славным мальчиком и поставила мне «отлично».

Поужинав галетами и консервами из тунца, при свечах играли с папой в карты. Было очень здорово. Папа обрезал кончики пальцев на перчатках. Мы с ним смотрелись, как пара беглых каторжников.

Читаю «Тяжелые времена» Чарлза Диккенса.

Вторник, 19 мая.

Полнолуние.

Папа поздно вернулся, и ему здорово влетело от бабушки. Но ведь папе столько же лет, сколько молочнику, и, ей-богу, он имеет полное право возвращаться, когда ему вздумается.



Рассказал сегодня папе, что Барри Кент вымогает у меня деньги. Пришлось рассказать, потому что Барри сильно порвал мне форменный блейзер и оторвал нашивку со школьной эмблемой. Папа обещал завтра им заняться и заставить его вернуть все отобранные у меня деньги. Похоже, я разбогатею!

Среда, 20 мая.

Барри Кент нахально отрицал, что терроризирует меня, и только рассмеялся, когда папа потребовал вернуть деньги. Мой отец пошел к его отцу, поругался с ним и пригрозил обратиться в полицию. Смелый у меня отец. А отец Барри Кента похож на гориллу. У него на руках волос больше, чем у моего отца на голове.

В полиции потребовали доказательств, иначе, мол, ничего сделать не смогут. Попрошу Найджила письменно засвидетельствовать факт вымогательства при помощи угрозы.

Вторник, 21 мая.

Барри Кент вздул меня сегодня в раздевалке и подвесил за воротник на вешалку. Обозвал меня «стукачом» и всякими непечатыми выражениями. Обо всем этом прознала бабушка (отец не хотел ее беспокоить из-за диабета). Выслушав меня, она надела шляпку, поджала губы и ушла. Отсутствовала час семь минут, потом вернулась, сняла пальто, поправила прическу, достала из пояса, в который прячет от грабителей деньги, двадцать семь фунтов восемнадцать центов и сказала: «Он больше не тронет тебя, Адриан. Но если тронет, скажи мне». Потом приготовила чай. Я купил ей в аптеке коробку диабетического шоколада в знак признательности.

Пятница, 22 мая.

Вся школа только и говорит о том, как семидесятишестилетняя старушка до смерти напугала Кентов и заставила их вернуть деньги. Барри Кент боится показываться нам на глаза. Его шайка выбирает нового вожака.

Понедельник, 25 мая.

Я твердо решил стать поэтом. Но папа считает поэзию делом бесперспективным. Поэтам не положено ни пенсии, ни фига. А мне плевать. Папа пытался заинтересовать меня специальностью программиста, но я ответил: «Я хочу вложить в свою профессию всю душу, а каждому известно, что у компьютера души нет». Тогда папа сказал: «Американцы над этим работают». Это сколько же мне ждать?

Понедельник, 1 июня.

Папа получил письмо. Прочитал и весь побелел: его увольняют по сокращению штатов. Будет получать пособие по безработице! Да разве проживешь на эти гроши, что выдает правительство? Придется расстаться с собакой, один корм для нее обходится в тридцать пять центов в день, не считая галет «Уиналот». Теперь я ребенок безработного родителя-одиночки. Служба социального обеспечения будет приобретать мне обувь!

Среда, 10 июня.

Мы с Пандорой любим друг друга! Официально! Она сказала Клер Нельсон, Клер – Найджилу, а Найджил – мне!

Я сказал Найджилу, чтобы он сказал Клер, чтобы та сказала Пандоре, что я отвечаю ей взаимностью. Я вне себя от радости и счастья. И даже готов закрыть глаза на то, что Пандора обзавелась зажигалкой и выкуривает по пять сигарет в день. Когда влюблен, прощаешь многие недостатки.

Пятница, 3 июля.

В бывший дом Люкасов вселяются цветные! Я сидел в шезлонге и хорошо видел, как разгружали фургон с их мебелью. Цветные тетеньки все таскали и таскали в дом огромные котлы, большая, должно быть, семья.

– Начало конца нашей улицы, – сказал папа.

Пандора состоит в Антинацистской лиге. Она подозревает моего отца в расизме.

Читаю «Хижину дяди Тома».

Суббота, 19 сентября.

Экскурсия в Британский музей четвертого «Г» класса.

7.00. Посадка в автобус.

7.05. Завтрак бутербродами и некалорийными напитками.

7.10. Не успели выехать за ворота, остановка: тошнит Барри Кента.

7.20. Снова остановка: Клер Нельсон просится в туалет.

7.30. Автобус покидает школьный двор.

7.35. Автобус возвращается на школьный двор: миссис Фоссингтон-Гор забыла сумочку.

7.40. В поведении водителя проявляются странности.

7.45. Опять остановка: снова тошнит Барри Кента.

7.55. Выежаем на шоссе.

8.00. Водитель останавливает автобус и просит нас не дразнить водителей обгоняемых грузовиков, тыча в них пальцами.

8.10. Водитель выходит из себя, отказывается следовать по шоссе, пока «чертовы учителя не утихомирят детей».

8.20. Миссис Фоссингтон-Гор удаётся усадить всех по местам.

8.25. Следуем по шоссе.

8.30. Все поют «Десять зеленых бутылочек».

8.35. Все поют «Десять зеленых платочков».

8.45. Испустив громкий вопль, водитель заставляет всех замолчать.

9.15. Водитель останавливается у станции техобслуживания и крепко прикладывает ладонь к лбу.

9.30. Барри Кент раздает шоколадки, украденные в ларьке на станции техобслуживания. Миссис Фоссингтон-Гор выбирает шоколад «Баунти».

9.40. Барри Кента тошнит в автобусе.

9.50. Тошнит двоих соседа Барри Кента.

9.51. Водитель отказывается остановить автобус.

9.55. Миссис Фоссингтон-Гор пытается засыпать следы рвоты песком.

9.56. Вовсю тошнит миссис Фоссингтон-Гор.

10.30. Автобус еле тащится по обочине, поскольку на проезжей части ведутся дорожные работы.

11.30. На заднем сиденье вспыхивает драка.

11.45. Драка затихает. Миссис Фоссингтон-Гор находит аптечку и оказывает пострадавшим первую помощь. Барри Кента в наказание сажают рядом с водителем.

11.50. Автобус терпит аварию в Свисс Коттедж¹.

11.55. Водитель автобуса закатывает истерику представителю Автомобильной ассоциации.

12.30. Четвертый «Г» едет лондонским автобусом до Сент-Панкрас.

13.00. Четвертый «Г» идет пешком от Сент-Панкрас в Блумсбери.

13.15. Миссис Фоссингтон-Гор стучится в Тэвисток Хауз, просит д-ра Лэйнга осмотреть Барри Кента. Д-р Лэйнг уехал в лекционное турне по Америке.

13.30. Британский музей. Адриан Моул и Пандора Брейтуэйт потрясены знакомством с наследием мировой культуры. Остальные ученики четвертого «Г» ведут себя как дикари, хихикают над обнаженными скульптурами и увертываются от зрителей.

14.15. Миссис Фоссингтон-Гор в состоянии шока. Адриан Моул звонит директору школы с оплатой абонентом. Директор на собрании бастующего персонала и не может отвлечься.

15.00. Зрителям музея удается собрать четвертый «Г», выставить за дверь и усадить на ступеньках.

15.03. Американские туристы фотографируют Адриана Моула, назвав его «симпатиченьким английским школьником».

15.15. Миссис Фоссингтон-Гор приходит в себя и ведет четвертый «Г» на экскурсию по Лондону.

16.00. Как и предвидел Адриан Моул, Барри Кент прыгает в фонтан на Трафальгарской площади.

16.30. Барри Кент исчезает. По словам тех, кто видел его последним, он направился в район Сохо.

16.35. Прибывает наряд полиции, грузит четвертый «Г» в полицейский фургон, организует автобус домой. По телефону информирует родителей об изменении времени нашего прибытия. Директор школы уже дома.

Истерику у Клер Нельсон. Пандора Брейтуэйт заявляет миссис Фоссингтон-Гор, что та позорит профессию педагога. Миссис Фоссингтон-Гор изъявляет желание оставить ряды учителей.

18.00. Барри Кент обнаружен в секс-шопе. Ему предъявлено обвинение в краже стимуляторов.

19.00. Автобус покидает полицейский участок в сопровождении полицейского эскорта.

19.30. Прощание с полицейским эскортом.

19.35. Водитель умоляет Пандору Брейтуэйт навести порядок в автобусе.

19.36. Пандора Брейтуэйт наводит в автобусе порядок.

20.00. Миссис Фоссингтон-Гор составляет текст заявления об уходе.

20.30. Сдвиг по фазе у водителя автобуса.

20.40. Прибытие в школу. Горят шины. Четвертый «Г» от ужаса теряет дар речи. Мистер Скратон уводит миссис Фоссингтон-Гор. Родители вне себя. Полиция предъявляет обвинение водителю автобуса.

Пятница, 2 октября.

18.00. Я глубоко несчастен и вновь ищу утешения в великой литературе. Мне отнюдь не кажется странным, что интеллектуалы накладывают на себя руки, сходят с ума или спиваются. Просто мы более чувствительны, чем остальные, и знаем, что жизнь скверна, а подбородки уродуются прыщами. Читаю «Прогресс, сосуществование и интеллектуальная свобода» Андрея Д. Сахарова.

– «Непревзойденно значимый документ» согласно оценке критики, приведенной на обложке.

23.30. «Прогресс, сосуществование и интеллектуальная свобода» – документ непревзойденно занудный согласно оценке Адриана Моула.

Я не согласен с анализом причин возрождения сталинизма, сделанным Сахаровым. Мы как раз сейчас проходим Россию в школе, так что я знаю, о чем говорю.

Четверг, 19 ноября.

Пандора предложила мне создать литературный журнал и печатать его на школьном ротапринтере. На большой перемене сочинил первый номер. Журнал назвал «Голос юности».

Пятница, 27 ноября.

Пятьсот номеров «Голоса юности» поступили сегодня в продажу в школьную столовую.

Пятьсот номеров «Голоса юности» пришлось к концу дня запирать в шкаф. Не разошелся ни один номер! Ни один! Все мои соученики – ханжи и кретины!

В понедельник сбросил цену до двадцати пенсов.

Позвонила мама, хотела говорить с папой. Ответил ей, что папа уехал на воскресную рыбалку, устроенную Обществом безработных торговцев электронагревательными приборами.

Пришло извещение – если отец до 17.30 не позвонит на почту, нам отключат телефон.

Воскресенье, 29 ноября.

Безо всякого предупреждения домой вернулась мама! Со всеми своими вещами. Бросилась в ноги папе, папа бросился на нее, а я тактично удалился в свою комнату, где и пытаюсь сейчас



разобраться, как отношусь к ее возвращению. В целом я вне себя от радости, но с ужасом представляю, как мама воспримет наш убогий дом. К тому же она здорово психанет, когда узнает, что я дал Пандоре ее лисье манто.

Четверг, 31 декабря.

Последний день года! Много случилось за этот год событий. Влюбился. Был ребенком отца-одиночки. Стал интеллектуалом! Получил два письма из Би-би-си. Для подростка четырнадцати лет и девяти месяцев от роду – совсем неплохо!

Родители отправились встречать Новый год в «Гранд-отель».

Вернулись в час ночи. Папа вломился в входную дверь с глыбой угля в руках. Нарезался как обычно.

Маму понесло, какой я чудесный сын и как она меня любит. Жаль, она никогда не скажет этого, когда трезвая.

Пятница, 2 апреля.

Мне пятнадцать, но юридически я еще ребенок. И не могу сегодня сделать ничего, чего не мог бы хоть вчера. Эх, невезуха!

Получил семь поздравительных открыток от родных и друзей. Подарки – стандартное японское фуфло. Один лишь Берт подарил сборную модель самолета западногерманского производства.

Пандора мой день рождения игнорирует. Я ее не виню – ведь я ей изменил.

Пришли с канала Боз, Баз, Маз, Кев и Мелв тянуть меня за уши. Боз подарил мне тюбик клея для сборки моего самолета.

Суббота, 3 апреля.

8.00. Британия в состоянии войны с Аргентиной!!! Только что объявили по четвертой программе радио. Я вне себя от волнения. С одной стороны, это просто ужасно, с другой – ужасно интересно.

10.00. Разбудил папу сказать ему, что аргентинцы высадились на Фолклендские острова. Его с кровати как ветром сдуло – решил, что Фолклендские острова в Шотландии. Когда я объяснил, что до них восемь тысяч миль, он снова лег и укрылся с головой.

16.00. Только что пережил величайшее унижение в моей жизни. Все началось с того, что решил собрать модель самолета. Почти все уже сделал, как стукнуло в голову интереса ради нюхнуть клея. Сунул нос в фюзеляж, секунд пять нюхал, никакого просветления не испытал, но приклеился к фюзеляжу носом! Папа повез меня отклеивать в травматологию, как я только пережил все хихиканья и насмешки – сам не знаю.



Дежурный врач написал в истории болезни: «Клеенюхатель».

Позвонил Пандоре, она зайдет навестить меня после урока музыки. Только одна любовь и помогает мне не потерять рассудок...



1. Можешь ли ты объяснить, почему эта книга пользуется популярностью у читателей?
2. Что означает слово «интеллектуал»? Является ли интеллектуалом Адриан Моул?
3. Каким тебе представляется Адриан Моул?
4. Расскажи о классе, в котором учится главный герой.
5. Какое представление у тебя сложилось о родителях Адриана? Как ты думаешь, влияют ли взаимоотношения родителей на характер и поведение их детей?
- (П) 6. Какую роль в жизни Алексея Пешкова (М. Горький «Детство») сыграла бабушка? А в жизни Адриана Моула?
7. Как ты понимаешь выражение «система ценностей»? Какая она у Адриана Моула? А у тебя?
8. Как ты думаешь, осознает ли Адриан всю сложность, даже трагичность своего положения? Покажи, как смешное и трагическое соседствуют на страницах дневника.
9. Какие черты личности, по-твоему, могут сформироваться у Адриана в дальнейшем? Объясни свою точку зрения.
10. Согласен ли ты с оценкой, которую дал Адриану Моулу Алексей в своем дневнике?

Список книг для самостоятельного чтения

А.С. Пушкин «Скупой рыцарь», «Полтава», «Медный всадник», лирика.

А.И. Герцен «Былое и думы».

Л.Н. Толстой «Детство», «Отрочество», «Юность».

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука».

Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», «Гимназисты».

К.И. Чуковский «Серебряный герб».

А.Н. Толстой «Детство Никиты».

М. Горький «Детство», «В людях», «Мои университеты».

А. Грин «Бегущая по волнам».

Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки», «Вратарь республики», «Ход белой королевы», рассказы.

В. Железников «Чучело», «Жизнь и приключения чудака».

А. Алексин «А тем временем где-то...», «Раздел имущества», «Мой брат играет на кларнете».

В. Тендряков «Ночь после выпуска»,

Ч. Айтматов «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», «Верблюжий глаз», «Материнское поле».

В. Шукшин Рассказы.

В. Быков «Альпийская баллада», «Сотников», «Круглянский мост».

Б. Васильев. «А зори здесь тихие...», «В списках не значился», «Завтра была война».

В. Богомолов «Иван».

Стихотворения *К. Симонова*, *В. Высоцкого*, *Б. Окуджавы*, *Д. Самойлова* и др.

Ш. Бронте «Джен Эйр».

О.Генри. «Вождь краснокожих» и другие рассказы.

Э.-Л. Войнич «Овод».

Список иллюстраций

- Стр. 6. А. Белов. Заставка.
Стр. 9. С. Видберг. Улица (фрагменты).
Стр. 20. П. Федотов. Портрет М.И. Верник.
Стр. 21. П. Федотов. Девушка с черной кошкой на коленях.
Стр. 22. П. Федотов. Неосторожная невеста.
Стр. 23. П. Федотов. Пейзаж (фрагмент).
Стр. 28. А. Кравченко. Заставка.
Стр. 32. П. Федотов. Мальчик в кресле у круглого стола.
Стр. 36. П. Федотов. Портрет старушки.
Стр. 38. П. Федотов. Портрет неизвестной.
Рис. 40. Фотография семьи Л.Н. Толстого.
Стр. 45. Неизвестный художник. Портрет близкого друга Л.Н. Толстого, Д.А. Дьякова.
Стр. 47. Неизвестный художник. Л.Н. Толстой в юности; Рукопись юного Толстого.
Стр. 51. Фрагмент открытки конца XIX в.
Стр. 52. К.Родзевич. Портрет М.И. Цветаевой.
Стр. 62. Г. Доре. Иллюстрация.
Стр. 64. Возвращение с работы; В крестьянской избе. Фотографии первой четверти XX в.
Стр. 71. В. Серов. Три мужика.
Стр. 74. Д. Понсов. Фотография из серии «Центральная часть Москвы». Строительство моста.
Стр. 77. И.Репин. Бурлаки на Волге. Эскиз.
Стр. 78. И.Репин. Волга. Лист из альбома.
Стр. 80. И. Репин. Портрет матери.
Стр. 84. К. Петров-Водкин. Рисунок к повести «Хлыновск».
Стр. 87. Г. Доре. Из цикла: «Занятия парижан»; Картинка из иллюстрированного дамского журнала. 1874 г.
Стр. 88. Э. Дега. Семейство.
Стр. 91. Энгр. Женский портрет.
Стр. 93. Иллюстрации из журнала мод середины XIX века.
Стр. 94. Энгр. Портрет пожилого джентльмена.
Стр. 103. Коллаж из произведений различных художников.
Стр. 109. Голод в Поволжье. Фото 1920-х годов.
Стр. 119. П. Федотов. Семейная группа.
Стр. 120. П. Федотов. Набросок.
Стр. 122. Рембрандт. Сельский пейзаж; В. Васнецов. Гусляры (фрагмент).
Стр. 124. Рембрандт. Сельский пейзаж; П. Федотов. Портрет Н.П. Жданович в детстве.
Стр. 142. М. ван Швиндт. Рисунок.
Стр. 147. М. ван Швиндт. Концерт Шуберта.
Стр. 167. Зарисовка А.С. Пушкина.
Стр. 170. Н.К. Крамская. Игра в городки.
Стр. 175. П. Федотов. Наброски и надписи Федотова. 1851–1852 гг.

Стр. 177. А.А. Наумов. Последняя дорога в Святые горы (фрагмент).

Стр. 183. П. Соколов. Обучение солдат.

Стр. 187. А.П. Федотов. Бедной девушке краса – смертная коса. 1846 г.

Стр. 188. П. Соколов. Савельич останавливает дуэль.

Стр. 194. Е.Д. Камеженков. Портрет дамы. XVIII в.

Стр. 199. В. Перов. Суд Пугачева (фрагмент).

Стр. 206. С. Паршина. Башкиры Салавата Юлаева штурмуют крепость (фрагмент).

Стр. 209. С. Паршина. Восстание Пугачева.

Стр. 211. Войска Пугачева. *Гравюра.*

Стр. 217. П. Соколов. Прощание Гриневы с Машей.

Стр. 227. Емельян Пугачев. Портрет, приложенный Пушкиным к написанной им «Истории Пугачева».

Стр. 234. Лубок (фрагмент). XIX в.

Стр. 239. М.М. Иванов. Князь Г.А. Потемкин.

Стр. 243. Ф.С. Рокотов. Портрет Екатерины II. 1763 г.

Стр. 250. А. Шарлеман. Пир у князя Потемкина в Таврическом дворце.

Стр. 253, 255, 257, 259, 260. Рисунки из рукописей А.С. Пушкина.

Стр. 261. М. Шагал. Часы.

Стр. 267. В. Овчинников. Св. Себастьян.

Стр. 280. Современные фотографии.

Краткий словарь литературоведческих терминов¹

Автобиография – жизнеописание какого-либо лица, составленное им самим.

Автобиография может быть представлена как деловой документ с перечислением основных фактов жизни человека или как литературный жанр. В последнем случае автобиография пишется в художественном стиле и в ней сообщаются не только факты жизни, но и чувства, мысли автора. Как литературный жанр автобиография близка, но не тождественна мемуарам (воспоминаниям).

Биография – жизнеописание реального человека, составленное другим лицом на основе фактических материалов жизни и деятельности этого человека. Биография бывает научная и художественная, в которой автор пытается на основе документальных материалов раскрыть характер человека, причины, сформировавшие те или иные его характера, показать круг друзей и другие стороны его жизни.

Звукопись – особый подбор звуков в литературном произведении, которые создают художественный образ.

Ирония (от греческого *eirōnía* – «притворство») – черта нашего речевого поведения, шутка, насмешка или шутливое повествование о серьезных предметах.

Конфликт – острое противоречие, находящее свой выход и разрешение в действии, борьбе, противостоянии героев. Художественный конфликт – противоборство действующих в литературном произведении разнонаправленных сил.

Лирический герой – образ того героя в лирическом произведении, переживания, мысли и чувства которого отражены в нем. Лирический герой не идентичен образу автора, хотя и отражает его личные переживания, связанные с теми или иными событиями его жизни и пр.

Литературный герой – действующее лицо литературного произведения, чей внутренний мир изображается автором и осваивается читателем.

Мемуарная литература. Мемуары (от франц. *mémoires* – «воспоминания») – повествование о подлинных событиях, реально происходивших и вспоминаемых автором – свидетелем или участником этих событий. Особенность таких произведений – это их фактическая точность, с одной стороны, и, с другой стороны, личные впечатления, переживания, оценки, которые автор дает фактам, событиям, людям. В этом смысле мемуарная литература, являясь документальной, в чем-то приближается к художественной: автор рассказывает о реальных людях, событиях, фактах, пропус-

¹ При составлении использованы материалы «Энциклопедического словаря юного литературоведа». 2-е изд. – М.: Педагогика – Пресс, 1998.

кая их через собственное восприятие, выражая свое впечатление о них, отношение к ним с помощью художественного слова. Мемуаристика существует в разных жанровых вариантах: собственно воспоминания, дневники.

Первые мемуарные произведения в литературе относятся к XVIII веку: «Исповедь» Жан-Жака Руссо, «Поэзия и правда» И.-В. Гёте и др., в России – «Мемуары Екатерины II», «Жизнь и приключения Андрея Болотова», «Записки» Г.Р. Державина. В XIX веке появились «Былое и думы» А.И. Герцена, «Детские годы Багрова-внука» С.Т. Аксакова и др., в XX веке – «Повесть о жизни» К.Г. Паустовского, «Ни дня без строчки» Ю.К. Олеси, «Трава забвения» В.П. Катаева и др.

Метафора – употребление слова или выражения в переносном значении на основании сходства предметов, скрытое сравнение. *В саду горит костер рябины красной* – кисти рябины по цвету сравниваются с огнем, но это сравнение неявное, скрытое.

Новелла – разновидность рассказа, отличающаяся остротой конфликта, драматизмом сюжета, нередко имеющая неожиданный финал.

Очерк – эпический жанр, широко распространенный в современной литературе наряду с рассказом. В очерках писатели показывают или разъясняют какие-либо особенно важные или ранее неизвестные явления. Они могут касаться вопросов научных, общественных, политических, изображать явления природы и быта, людей разных профессий и т.д. В газетах и журналах встречаются документальные очерки. Существуют также художественные или беллетристические очерки, главная особенность которых – художественные образы. Они могут рассказывать о действительных событиях, включать факты, точные даты и цифры, но документальная точность в этих очерках не обязательна.

Рассказ – повествовательный, прозаический жанр, характерные черты которого – небольшой объем и единство художественного события. Разновидности этого жанра – собственно рассказ и новелла. Новелла отличается остротой конфликта, драматизмом сюжета, нередко она завершается неожиданным финалом. К новеллам можно отнести произведения А.С. Пушкина «Выстрел», «Станционный смотритель».

Ритм стихотворный – повторяемость однородных звуковых особенностей стихотворного текста, чередование ударных и безударных слогов.

Рифма – это самый важный, регулярный звуковой повтор в конце строки в русском стихе, образуется совпадением ударного гласного и соответствием последующих звуков (*быть мо́жет – не трево́жит, не совсе́м – ниче́м, безнаде́жно – нежно, то́мим – дру́гим*).

Сонет – (итал. sonetto – звучать, звенеть) – итальянская форма стихотворения в 14 строк – двух четверостиший и двух трехстиший. Стихотворный размер сонета – обычно пятистопный ямб.

Сравнение в художественной речи – сопоставление двух предметов или явлений с целью пояснить один из них при помощи другого («А голос так дивно звучал, /Как звон отдаленной свирели, /Как моря играющий вал». А.К. Толстой).

Строфа́ – несколько стихотворных строчек, которые объединены смыслом и рифмами и отделены от смежных стихосочетаний большой паузой, а на письме – пробелом.

Трагическое, трагедия. В обыденной жизни с понятием «трагическое» мы обычно связываем какое-то несчастье. В эстетике и философии трагическое – это особая категория. Человеку, который хочет жить достойно, свойственно задумываться над проблемами жизни и смерти, цели и смысла жизни, свободы и власти обстоятельств, личности и общества. Искусство тоже пытается осмыслить эти проблемы, связанные с понятием трагического. В основе трагедии всегда лежит конфликт – столкновение, противоборство различных сил. Это может быть конфликт между человеком и миром, человеком и обществом или внутри самого человека (борьба доброго и злого начал, чувства и долга и т.д.). Конфликт сопровождается страданиями героев, нередко их гибелью. В конце трагедии или погибают герои, или рушатся какие-то важные жизненные ценности. В таком случае речь идет о трагическом финале. Трагическое всегда присутствует в литературе и связано не только с жанром трагедии. В русской литературе XIX века трагизм присущ произведениям А.С. Пушкина («Борис Годунов», «Маленькие трагедии»), М.Ю. Лермонтова («Демон», «Герой нашего времени»), Н.В. Гоголя («Шинель», «Портрет»), Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского.

Эпитет – художественное, образное определение, которое отражает особенности мироощущения писателя.

Содержание

Как работать по учебнику	3
Вступление от авторов учебника	5
Вступление от автора дневника	7

Раздел 1. Я и мое детство

И.А. Бунин. Детство	9
К.М. Симонов «Тринадцать лет...»	9
□ А.И. Герцен. Былое и думы (главы)	12
□ Л.Н. Толстой. Детство (главы)	32
А.А. Тарковский. Белый день	51
М.И. Цветаева. Воспоминания (главы)	54
М.И. Цветаева. В субботу	62
С.А. Есенин. Мой путь (фрагмент)	64
□ Письмо матери	66
□ М. Горький. Детство (главы)	70
Ш. Бронте. Джен Эйр (главы). Перевод В. Станкевич	88
Подведем итоги. Автор и его герой в художественной автобиографии	101

Раздел 2. Я и Я

Д.С. Самойлов. «Вдруг странный стих во мне родится...»	103
□ В.Ф. Тендряков. Хлеб для собаки	104
В. Г. Короленко. Слепой музыкант (главы)	119
Л.А. Кассиль. Ранний восход (главы)	148
А.С. Пушкин «Дар напрасный, дар случайный...»	167
□ А.С. Пушкин. Капитанская дочка	170
□ А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери	253
Н.П. Огарев. Хандра	261
А.В. Макаревич. Пока горит свеча	262
Сью Таунсенд. Дневники Адриана Моула	266
Список книг для самостоятельного чтения	282
Список иллюстраций	283
Краткий словарь литературоведческих терминов	285

Серия «Свободный ум»

Бунеев Рустэм Николаевич, Бунеева Екатерина Валерьевна

Литература

7 класс

(Путь к станции «Я»)

Книга 1

Художественный редактор – Е.Д. Ковалевская

Авторы выражают благодарность Е.С. Баровой
и Е.Н. Вороновой за помощь в подготовке учебника.

Подписано в печать 06.06.08. Формат 70х100/16. Гарнитура Школьная.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 18 п.л. Тираж 11 027 экз. Заказ № 4190.

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953005 – литература учебная

Издательство «Баласс». 111123 Москва, 1-я Владимирская ул., д. 9

Почтовый адрес: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс»

Телефоны для справок: (495) 368-70-54, 672-23-12, 672-23-34

http://www.school2100.ru E-mail: balass.izd@mtu-net.ru

Отпечатано в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфический комбинат детской литературы им. 50-летия СССР»
170040 г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46





Мы, авторы
«Школы 2100»,
 написали учебники
 для своих детей и теперь
 предлагаем их вам

Каждому необходимо научиться:
Решать любые возникающие в жизни задачи.
Самостоятельно открывать новое.
Выбирать главное и интересное.

Главное не знания, а умение ими пользоваться!
 Не надо зубрить и искать готовые ответы!
 Далеко не всё, что есть в учебнике, нужно запомнить или выполнить!

У НАШИХ КНИГ ОДНИ И ТЕ ЖЕ АВТОРЫ – ОТ НАЧАЛЬНОЙ ДО СТАРШЕЙ ШКОЛЫ!

НЕПРЕРЫВНЫЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА

(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва и др.)

Учебники по русскому языку 5–11 кл.:

Основная школа



Старшая школа



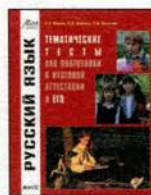
Самостоятельные и проверочные работы, сборники диктантов, тематические тесты
 и методические рекомендации по русскому языку:



Самостоятельные и проверочные
 работы, 5–9 кл.



Сборники диктантов,
 5–7, 8–9 кл.



Тематические тесты для
 подготовки к итоговой
 аттестации и ЕГЭ



Методические
 рекомендации, 5–9 кл.

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс»

Телефоны для справок: (495) 672-23-12, 672-23-34, 368-70-54; www.school2100.ru

Заявки на отправку по почте: (495) 735-53-98, bal.post@mtu-net.ru

Запись на курсы повышения квалификации по телефону: (495) 368-42-86

Ежемесячный журнал «Начальная школа плюс До и После»

В журнале – материалы о работе по учебникам «Школы 2100»

Почтовый индекс для подписчиков РФ – 48990